

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ТЫ И Я

Георгий Баженов

Ты и я

«Баженов Георгий Викторович»

2010

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Ты и я / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович», 2010

ISBN 978-5-7117-0583-3

Книга Георгия Баженова «Ты и я» – это, действительно, «кольца любви», где развитие сюжета и переплетение человеческих судеб «закольцованы» автором в драматическое и напряженное повествование. Искренность человеческих отношений, правда чувств, самопожертвование женщины во имя любви, детей и семьи – вот чему посвящена книга Баженова. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-7117-0583-3

© Баженов Г. В., 2010

© Баженов Георгий Викторович, 2010

Содержание

Люблю и ненавижу	5
I. Мельниковы	5
II. Даниловы	12
III. Мельниковы	21
IV. Даниловы	28
V. Мельниковы	36
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Георгий Баженов

Ты и я. Кольца любви

Люблю и ненавижу

Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешиagnet...

Н. С. Лесков

I. Мельниковы

Татьяна лежала на кровати, положив руки под голову; за стеной, у Надежды, гремела музыка, слышались смех, шутки; несмотря на шум, сын Татьяны Андрюшка спал спокойно и безмятежно – сказывалась многолетняя привычка.

Татьяна лежала в полной темноте, с открытыми глазами; ждала, как всегда, мужа.

Скрипнула дверь, и послышался возбужденный шепот Надежды:

– Тань, ты спишь?

Татьяна молчала.

– Ведь не спишь, – продолжала Надежда. – Пойдем к нам, слышь, Таня?..

Татьяна не ответила; Надежда потихоньку прошмыгнула в дверь, вслепую подошла к кровати, присела рядом с Татьяной. Вздохнула:

– Все ждешь? Эх, Танька, Танька, губишь свою молодость...

От этих слов, сказанных искренне-горячо и горестно, Татьяне стало совсем худо.

– Не спишь? – наклонилась над ней Надежда; дыхание ее было шумным и горячим.

– Нет, – наконец подала голос Татьяна: молчать дальше было неудобно – Надежда хорошо знала ее, знала, что Татьяна не могла уснуть, когда Анатолий подолгу не возвращался домой.

– Вот видишь, не спишь... А чего тогда молчишь? – снова горячо и убежденно зашептала Надежда. – Чего расстраиваешь себя? В твои-то годы да так мучиться... Ну, встряхнись, опля – и к нам...

– Нет, Надя, ты иди. Я одна хочу побыть...

Видно, Надежда обиделась, что ее порыв Татьяна встретила так холодно, – немного помолчала и, пожав плечами, сказала:

– Ну, как знаешь... Тебе же хуже. – Встала и пошла к двери.

Но вдруг остановилась, постояла, как бы глубоко задумавшись о чем-то, раскачиваясь в такт своим мыслям, а затем шагнула чуть в сторону, к кровати Андрюшки, и опустилась перед ним на колени, прошептала что-то, погладила его вихрастую голову.

Андрюшка спал глубоко, будто обморочно, за день намаявшись в ребячьей беготне до последнего предела, – что ему чей-то шепот, чужая женская ласка... Он спал, Надежда стояла перед его кроватью на коленях – все это было хорошо видно, потому что сквозь щель приоткрытой двери пробивался в комнату яркий коридорный свет, и Татьяна смотрела на них, поймав себя на странной мысли: Господи, да что же это такое, наша жизнь?! Она знала, Надежда была искренна сейчас, не играла и не прикидывалась, потому что всегда относилась к Андрюшке с нежностью, даже с каким-то истовым обожанием, которое было трудно понять до конца. Трудно было понять причину, истоки этого обожания. Может, ей тоже хотелось сына? Но ведь, родив когда-то Наталью, которая на будущий год должна уже окончить школу, Надежда дала

себе зарок – больше никогда не рожать. И сами роды, и вся последующая семейная жизнь оглушили ее, и ничего теперь не хотелось... Тогда откуда это обожание Андрюшки, совсем чужого для нее мальчика? Вот чего никак не могла понять Татьяна. Как вообще в последнее время она многое не могла понять: мир как бы раскололся для нее на мелкие осколки – и собрать их воедино недоставало сил, она постоянно стремилась осознать этот мир, ухватить его мыслью, догадаться о главном, что составляет смысл человеческой жизни... А вместо этого, вот как сейчас, когда она лежит в кровати, а Андрюшка спит, а перед ним на коленях стоит Надежда и гладит его голову рукой, вместо этого она переполнена невыразимой тоской: Господи, да что же это такое – наша жизнь?! Что это?!

Надежда поднялась наконец с пола, постояла еще немного рядом с кроватью Андрюшки и вдруг, не оборачиваясь к Татьяне, сказала не шепотом, а почти в полный голос:

– А что, если они не наши дети, а просто другие существа? С какой-нибудь неизвестной планеты?

Татьяна ничего не ответила, потому что не знала, что отвечать, да и вообще – как можно всерьез воспринимать такие вопросы?

– Ладно, я пошла! – Надежда как бы сама отмахнулась от своего вопроса. – Захочешь – приходи. Слышь, Таня?.. – и закрыла за собой дверь.

Татьяна вновь окунулась в тягучее оцепенение... потом, кажется, она уснула. Еще потом, вздрогнув, с тяжелой головной болью вынырнула из сна, – а может, из оцепенения – и, хмурясь, проклиная себя за слабохарактерность, подумала: нет, так можно сойти с ума, нужно встать и попробовать чем-нибудь заняться... Как всегда, она обманывала себя, потому что, когда она ждала, она только ждала, и это состояние унижительного, порабошающего душу ожидания не могла перебить ни сном, ни посторонним делом. Татьяна привстала, села на постели, но ноги ее так и не ступили на пол, – она застыла в неудобной позе, как будто забыв не только свою мысль, но и самое себя тоже, кто она, где она, зачем она... За стеной продолжалось веселье, гремела музыка, а Татьяна все сидела на кровати не шелохнувшись, не думая ни о чем, в полной прострации...

Щелкнула замком входная дверь, и Татьяна разом напряглась как струна: Анатолий? Нет, это был не он. По быстрым легким шагам, по тому, как небрежно и свойски были сброшены с ног туфли, Татьяна догадалась: Наталья. Навстречу ей вышла из комнаты Надежда – Татьяна услышала их разговор, резкий, непримиримый голос Натальи и виноватый, оправдывающийся голос Надежды, потом все смолкло – обе, вероятно, ушли на кухню. Татьяна знала: вскоре Наталья постучится к ней в комнату, – гостей матери Наталья выносила с трудом и при всяком случае старалась сказать им что-нибудь колкое, а то и оскорбительное. Конечно, мало кто всерьез обращал внимание на выходки девчонки, все считали – это так, возрастное, обыкновенная грубость и невоспитанность современной сопливой молодежи, для которой нет ничего святого на свете...

Уверенная в том, что Наталья с минуты на минуту может прийти к ней, Татьяна заставила себя встать, включила настольную лампу, достала из платяного шкафа белье и, поудобней расположившись в кресле, занялась починкой. Со стороны все выглядело так, будто Татьяна, тихая, счастливая, умиротворенная, давным-давно сидит и чинит белье... Так именно и показалось Наталье, когда через несколько минут она действительно заглянула в комнату к Татьяне.

– Во, хоть один нормальный человек! – сказала Наталья обрадованно. – Привет, Тань! Трудисься?

– Здравствуй, Наташа! – ровно ответила Татьяна, скрывая внутреннее свое состояние. – Проходи, чего в дверях стоишь?..

Наталья села на стул, небрежно красивым движением закинув ногу на ногу. Гибкая, стройная, в короткой – с широким поясом – куртке-ветровке, она казалась совсем взрослой, уверенной в себе, и только душа ее, знала Татьяна, была еще детская, неокрепшая...

– Слушай, а где твой Анатолий? – спросила Наталья.

– Спроси чего-нибудь попроще. – Татьяна продолжала заниматься починкой, не поднимая глаз на Наталью.

– Да, проблема... – вздохнула Наталья, и в голосе ее звучали (странно для Татьяны) нотки пожившей, немало повидавшей в жизни взрослой женщины. – А у нас вон, слышишь, гуляют...

– Знаю, – Татьяна откусывала нитку, и это «знаю» прозвучало хлестко, как будто зло.

– Приглашали?

– Надежда заходила.

– Слушай, Тань, скажи – только честно. Тебе нравится моя мать?

– Нравится, – без колебаний ответила Татьяна.

– Знаешь, она всем нравится... вокруг нее так и выются. А меня зло берет! Дура я?

– Ревнуешь, – спокойно сказала Татьяна.

– Я – ревную?! – возмутилась Наталья. – Да мне плевать на нее. Просто обидно – и все.

– Чего обидно-то? – спросила Татьяна, хотя могла и не спрашивать: разве она не знала жизни соседей?

– Обидно, что отец с матерью как кошка с собакой... А тут все выются... и что надо? Так бы и засунула всех в мясорубку!

Татьяна улыбнулась на эти слова: эх, Наталья, Наталья...

Татьяна была старше Натальи на семь лет, к тому же Наталья – всего лишь девятиклассница, а Татьяна – замужняя женщина, у нее вон Андрюшке шесть лет, через год в школу пойдет, и все-таки, несмотря на разницу в возрасте, Татьяна с Натальей говорили на «ты», что-то в них – в обеих – было такое, из-за чего ну никак не представишь, чтобы они обращались друг к другу на «вы», – по духу и по душе они походили, пожалуй, на сестер-близнецов.

В дверь квартиры неожиданно позвонили. Татьяна невольно вздрогнула, хотя это никак не мог быть Анатолий: у него был свой ключ и в дверь он никогда не звонил, даже если приходил совсем поздно.

– Два звонка. К нам, – иронически усмехнулась Наталья. – Мало их там, так еще кто-то вспомнил...

– Пойди открой, – сказала Татьяна.

– Сами разберутся.

Действительно, дверь открыли, но почти сразу к Татьяне заглянула Надежда.

– Тань, к тебе. – И без перехода добавила, обращаясь к дочери: – Выйди, пожалуйста. Ты мне нужна.

– Это еще зачем? – пробурчала Наталья, но спорить не стала, поднялась со стула. Встала с кресла и Татьяна, так что из комнаты они вышли вместе.

В прихожей Татьяна увидела мать; та все еще стояла у порога, маленькая, в обтрепанном пальто, не решаясь раздеваться, пока не увидит Татьяну.

– Ты что же два раза звонишь? – в который раз проговорила Татьяна. – К нам один звонок.

– Путаюсь. Как ни приду, так путаюсь, – развела руками мать.

Татьяна помогла ей снять пальто, подала тапочки. Мимо них прошел рослый, с обвисшими усами парень. Обронил иронически и хмельно:

– Добрый день, граждане... Извините!

Мать посторонилась, а Татьяна и внимания на него не обратила, хотя видела его у Надежды не в первый раз. Однажды он даже сказал ей: «Какая симпатичная девушка – и такая сердитая! Чес-слово, загадка природы!..» Но Татьяна и бровью не повела – она вообще не любила гостей Надежды. Почему? Сама не знала. Ну, пьют, ну, веселятся, ну, шумят – но разве этого достаточно, чтобы понять и узнать людей?

– Чай будешь? – спросила Татьяна у матери и, когда та кивнула, добавила: – Пойдем на кухню. Андрюшка спит, так что там будет удобней.

Наталья сидела на кухне. Подперев лицо руками, смотрела в темное окно. Что там было видно? Ничего, только бесконечные освещенные окна противостоящих домов.

– Чего она тебе? – поинтересовалась Татьяна у Натальи, имея в виду: зачем Надежда позвала ее?

– Чтоб вам не мешала. А! – И махнула рукой. – Может, я пойду к тебе? Посижу, почитаю. Как?

– Чаю не хочешь с нами?

– Чай – наш традиционный семейный напиток. Меня от него тошнит.

– Иди, конечно... Чего спрашиваешь, – сказала Татьяна.

Это у них повелось с давних пор: когда у Надежды гости и Наталья не очень злилась, она сидела у Татьяны, а когда злилась всерьез, уходила вообще из дому. Хлопнет дверью – и нет ее.

– Как жизнь, тетя Нюра? – полуобернувшись на пороге кухни, спросила Наталья. Светлые пушистые волосы, темные, сливового оттенка глаза, стройные, будто литые ноги, яркая броская куртка – сколько в Наталье было чистоты и странного вызова, встревоженности и одновременно беззащитности. – Лучше всех, ага? – добавила сама и улыбнулась. И такая это была хорошая, грустно-ободряющая, грустнопонимающая улыбка – совсем не девическая, а опять же показалась Татьяне улыбкой взрослой, много повидавшей в жизни женщины... Но откуда в ней это?

– Лучше всех, Наташечка, только воробей живет, – ответила мать Татьяны. – Все-то он щебечет, все-то он хлопочет, ни зима, ни лето ему не страшны... Нам бы так, грешным.

Такое с матерью бывало иногда: вдруг впадет в елейносказочный речитатив, – тоже не поймешь, откуда что берется... Наталья, правда, знала об этой ее особенности, поэтому не очень всерьез воспринимала слова Татьяниной матери.

Улыбнувшись, Наталья вышла, и женщины сели пить чай. Татьяна заметила, как мать быстро, почти жадно намазывала на хлеб масло и откусывала хлеб, торопясь, словно мог кто-то войти и прогнать ее с кухни. Стеснялась Надежды, ее гостей? Или просто, как всегда, побаивалась Анатолия?

– Анатолий еще с работы не вернулся. У них там что-то аварийное... – сказала Татьяна и увидела, как с матери сразу спало напряжение. – У меня мясо тушеное есть. Может, поешь? – И по тому, как мать поспешно кивнула головой, Татьяна поняла: мать голодная...

Татьяна быстро разогрела мясо, макароны, налила в тарелку побольше подливки, в которую – для аромата – любила покруче добавить лука с чесноком, отчего с Андрюшкой у них все время шла война: тот с трудом переносил лук в каком бы то ни было виде, и вот Татьяна приспособливалась – «прятала» его в подливах. Зато как любила Татьянину еду мать! Чем бы Татьяна ни угощала ее, – все мать ела прихваливая да причмокивая, любила сытно и вкусно поесть, хотя редко когда ей это удавалось сделать. Жила она одна, пенсия пятьдесят три рубля, то купить, это, да квартплата, свет, газ, в одежде одной тоже век ходить не будешь – вот и жила, перебиваясь; как она сама говорила – «перемогом».

– Андрюха как, не болеет? – спрашивала мать, поспешно и жадно поглощая еду; когда-то Татьяна не любила мать за эту ее черту (и не только за эту), но постепенно не то что привыкла – смирилась, научилась находить для матери разные оправдательные причины.

– Здоров, – ответила Татьяна, невольно улыбнувшись при одном только упоминании сына.

– Ох, его беречь надо. В таком-то возрасте. Чуть что – того и смотри... – говорила мать, и трудно было понять, что именно имела она в виду. – У тебя рубликов пять – семь не найдется до пенсии?

– Рублей пять могу дать. – И Татьяна, как всегда, когда разговор с матерью заходил о деньгах, покраснела, смешалась, поспешно вышла в коридор и достала из пальто кошелек. В это время из своей комнаты вышла Надежда, приснула, как только увидела Татьяну, и горячо

зашептала ей на ухо: «Представляешь, Тань, сватаются вдвоем... Я говорю им: вы посмотрите внимательно, я похожа на сумасшедшую? А они мне: мы хорошие, мы друг друга обижать не будем...» Татьяна подумала: «Черт-те что...», а вслух сказала:

– Надь, мне некогда. Мать на кухне ждет.

– Во, пойдем к тете Нюре! Спросим у нее: права Надька или нет? – И Надежда громко, горько-весело рассмеялась.

Вошли на кухню; деньги при Надежде отдать матери Татьяна не решилась, да и не до них сейчас было, потому что Надежда затеяла свой разговор:

– Слушай, тетя Нюра, один к тебе вопрос... Но сначала, – и Надежда хитро подмигнула матери, – скажи, только честно: пропустишь с Надеждой за нашу пропащую жизнь?

– Зачем за пропащую? – оживилась Татьянина мать. – Это ты, Надежда, не дело говоришь. Пьют за жизнь, а там уж она сама пропадай, как хочет...

– А что, мысль! – Надежда даже бровь изогнула в изумлении. – Значит, тетя Нюр, согласна, ага?

Мать то ли хмыкнула, то ли кивнула, понимай как хочешь, и Надежда поспешно вышла из кухни.

– Опять вы за старое! – упрекнула Татьяна.

– Что-то меня просквозило третьего дня. Вот тут, – показала мать на поясницу. – Так и стреляет, так и стреляет...

Хотела водочный компресс сделать, глядь – а водки-то и нет. Пришла вот к тебе, думаю, выручишь деньгами...

– Это-то да, выручу. Конечно. Но пить-то не обязательно, правда? – и хоть сердясь (да что поделаешь), протянула матери пять рублей.

– Опять она тебя уму-разуму учит? Ох и неугомонная Танька! – На кухню вернулась Надежда. – Я тебе, тетя Нюра, скажу по секрету: Танька нас ругает, а сама втихаря пьет... а? – И, зная, как это нелепо, неправдоподобно звучит, Надежда сама и рассмеялась.

– Ее время, – сказала Татьянина мать, – еще не пришло...

– А когда придет, – вставила Надежда, – поздно будет. Так?

Никто ничего не ответил; мать Татьяны была благодарна Надежде в эту минуту и рада бы ей поддакнуть, да побаивалась дочери, поэтому промолчала.

– «Живем, чтобы любить», – усмехнулась Татьяна. – Твои слова?

– Тань, ты делаешь успехи. Дай мне волю – из тебя такая ученица выйдет! Как, тетя Нюра, научим Таньку жить?

– Ученого учить... сама знаешь, – польстила мать Татьяне.

Выпили они вдвоем; Татьяна, разумеется, к рюмке не притронулась.

– Слушай-ка, тетя Нюра, вот ты жизнь прожила, – начала Надежда. – Много в ней врал?

– Никогда! – обиделась та.

– Врешь! – погрозила Надежда пальцем. – Как раз ты-то и врала всю жизнь. Да и сейчас врешь. Думаешь, я не знаю?

– Угостила – теперь можно обижать старуху?

– А! – махнула рукой Надежда. – Со мной-то ты можешь не прикидываться? Или ты думаешь, я не знаю твою жизнь? Все знаю, все!

«Ну, началось», – тоскливо подумала Татьяна.

Надежда чокнулась со старухой:

– Ты, тетя Нюра, благодари Бога, что Татьяна у тебя такая. Я бы на ее месте ох и дала бы вам всем разгону! Обложили девку со всех сторон, каждый для себя выгоду ищет, Анатолий – тот вообще...

– Надя! – не удержалась Татьяна.

– А что Надя, что Надя! Я уже тридцать шесть лет Надя, – ну и что? Не правду, что ли, говорю? Ведь обнаглел...

В коридор вышла Наталья и, не заходя на кухню, громко сказала:

– Ты лучше на себя посмотри! Правду она говорит...

– Чего-о? – Надежда полуобернулась к дочери. – Во, тоже сердитая, – показала она всем на Наталью. – А чего она сердитая, спрашивается?

– Пожалуй, пойду я... – засобиравлась мать Татьяна. – Засиделась, загостевалась...

– Ты этих своих, – выразительно кивнула Наталья в сторону комнаты, – сама попросишь или мне с ними поговорить?

– Сколько там на часах? – постучала Надежда по Таниной руке. – А, да, поздно уже, поздно... Счас, Натусик, мы их турнем, что ты, ты не думай, счас мать турнет их, расселись, понимаешь... Да я им... – Надежда с решительным видом направилась в свою комнату.

Мать Татьяны поднялась со стула вслед за Надеждой. Татьяна не стала ее задерживать.

– Ну, спасибо тебе большое! За хлеб, за соль. Что выручила меня. Спасибо, Танечка. – Мать попыталась расцеловать Татьяну в коридоре, но та не любила материнских поцелуев и сделала головой неумовимое движение в сторону, так что они обнялись на прощание, но не расцеловались.

– Андрюхе передай – бабушка в другой раз гостинец принесет. Скажи – выздоровеет бабушка и придет, принесет гостинец.

– Скажу, скажу...

– А худо будет, заходи ко мне. Что-то совсем к старухе дорогу забыла...

– Ты же знаешь, работа, семья, Андрюшка... Голова кругом!

Мать Татьяны кивнула согласно: эх, жизнь наша грешная, суматошная, как не знать... И с этим вышла из квартиры. Татьяна хорошо представляла, как мать радостно сейчас спускается по лестнице с пятого этажа, как, возможно, на какой-нибудь промежуточной площадке, остановившись, перекладывает заветную пятерку в сумке из одного карманчика в другой, как благословляет судьбу, что не повстречалась с Анатолием, которого она не только стеснялась, а – боялась, потому что иной раз, нимало не смущаясь, Анатолий зло и прямодушно бросал в пространство, как бы в никуда: «Опять приживалки в дом повадились...» Когда Татьяна протестовала, Анатолий еще больше раздражался: «Хотите видеться – можешь ходить к ней, а у нас богадельню устраивать нечего!..» Странное дело, Анатолий как будто мстил матери Татьяны, но за что? Даже не мстил, а вымещал на ней все плохое, что накапливается в любой жизни за долгие годы...

Татьяна вернулась к себе в комнату. За столом сидела Наталья, читала книгу. Подняла глаза.

– Не ушли еще эти? – С каким презрением произнесла она последнее слово – «эти»!

– Нет еще, не ушли. – Татьяна села в кресло, вытянув ноги, в тяжелом изнеможении сложив руки на подоле халата. Как она устала от этого бесконечного, унижительного ожидания. Почему она ждет? За что ей эта кара? Почему не может отвлечься, забыть, плюнуть на все? Или на самом деле она такая беспросветная дура?

Татьяна сидела, Наталья читала, Андрюшка спал, а в коридоре был слышен громкий прощальный разговор, глупые слова, шутки, требовательный бранчивый голос Надежды, скомо-рошье пенье усатого: «Ах, Надя, Надя, Надя...» Потом щелкнул замок, все стихло, Надежда заглянула к ним:

– Спать пойдешь? – это дочери.

Наталья, ни слова не отвечая, поднялась из-за стола, небрежным движением подхватила книгу (Андрей Платонов. «В прекрасном и яростном мире») и демонстративно-гордо прошла мимо матери.

– Спокойной ночи, Тань! Спасибо за приют! – сказала Наталья на прощание.

– Ишь, уколоть хочет, – дурашливо покачала головой Надежда. – Мол, в своей комнате жизни нет, а здесь – пожалуйста, всегда приютят. Ведь глупо, Тань?

– Глупо, – коротко согласилась Татьяна, лишь бы поскорей остаться одной.

Но Надежда, кажется, уходит не собиралась; опять приблизилась к кровати Андрюшки, постояла рядом с ним, склонив голову в умилении. И опять, как совсем недавно, опустилась вдруг на колени, гладила его голову, шептала какие-то глупые пустые слова...

«Нет, я ничего не понимаю, – думала Татьяна. – Я сойду с ума. Я больше так не могу...»

И когда в дверь позвонили, резко, требовательно, она буквально бросилась из комнаты, так велико было в ней напряжение: еще немного, казалось ей, и она в самом деле могла сойти с ума.

– Вы будете Мельникова? – В дверях стояла почтальонка.

– Да, я, – кивнула Татьяна. «Господи, что еще», – тут же пронеслось в ней.

– Вам телеграмма. Распишитесь.

Татьяна расписалась; мягко, как будто не торопясь, закрыла дверь; распечатала телеграмму:

*ВЫЛЕТЕЛ СРОЧНУЮ КОМАНДИРОВКУ
БУДУ ДНЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ
АНАТОЛИЙ*

И хотя Татьяна знала: вряд ли все это правда, ох вряд ли, на душе у нее стало легче; уже потому легче, что теперь было ясно, что ждать Анатолия не нужно, нет смысла, и значит, незачем мучиться, изводить себя напрасными и глупыми мыслями. Что бы ни было – ждать теперь бессмысленно. И с этим отчетливым пониманием Татьяна вошла в комнату.

Странное дело, Надежда продолжала стоять на коленях перед кроватью Андрюшки и, кажется, плакала. «О Господи!» – подумала с неожиданным раздражением Татьяна. Только что она ничего не понимала, только что, думалось ей, могла сойти с ума, и вот через несколько минут было совсем другое состояние – разве можно так кривляться в жизни, лить пьяные слезы, ведь это пошло, пошло... как этого не видит Надя, о Господи!

– Я пойду, пойду... – забормотала Надежда, словно услышала внутренний голос Татьяны. – Это я так, Бог знает отчего, просто дура, понимаешь, дура я, и нет никакой любви в жизни, одна ложь, никакой любви...

Надежда, как и мать, попыталась поцеловать Татьяну на прощание, но Татьяна и сейчас счастливо и умело избежала этого, сказала мягко (хотела резче, да не получилось):

– Спокойной ночи, Надя.

– Спокойной ночи, Тань. – И вдруг, как бы желая вмиг отрезветь, помотала головой из стороны в сторону: – Телеграмма? Тебе?

– Да, Анатолий уехал в командировку.

– Понятно... – И в этом «понятно» чудилась то ли усмешка, то ли недоверие.

«Пусть думает что угодно. Все равно. Спать, скорей спать...»

Татьяна и в самом деле почувствовала, как ее потянуло в сон (совсем недавно даже и представить себе такое было невозможно), и, как только Надежда вышла, быстро расстелила постель, сбросила халат и юркнула под одеяло. Засыпая, она еще цеплялась мыслью за только что пережитое, такое унижительное, канувшее в небытие ожидание, но теперь это была только мысль, а не боль, не страдание, не унижение. Потом и это все пропало, истаяло в сонной дымке, и, может быть, последнее, на что еще растревоженно откликнулась душа, была мысль об Андрюшке, о самом родном, близком человеке, о сыне, которого она никому никогда ни за что не отдаст, а вы строите какие угодно козни, но она его не отдаст, нет, нет, он ее, только ее, этот глупый, умный, родной мальчишка...

II. Даниловы

Утром Надежда проснулась с твердым решением: ехать к Феликсу; встала, правда, разбитая, с ощущением ватности в руках и ногах, но мысль о Феликсе явилась четкой: надо ехать к нему. Натальи не было, ушла в школу, в комнате кавардак, стол завален грязной посудой, объедками, окурками; слава Богу – догадалась на ночь открыть форточку: в осеннем воздухе, лившемся с улицы, чувствовалась легкая звончатость. Последнее время, замечала Надежда, она все на свете старалась с чем-нибудь сравнить, вот как сейчас, когда подумала, что воздух – не просто холодный и осенний, а будто есть в нем какая-то звончатость. В душе она знала, что это не более чем игра, но сознательно шла на нее, как бы подготавливала себя к перемене судьбы. Боже, как ей надоели дни сидений в НИИ, в крохотной комнате на пять сомкнутых между собой столов, за каждым из которых сидело по одной несчастной женщине; за одним столом, правда, восседал их непосредственный начальник, всегда улыбающийся и лоснящийся, как блин, Федор Федорович Круглов, донельзя развративший женщин своего маленького подопечного отдела попустительством, небесно-лазоревым добродушием (опять сравнения, невольно подумала Надежда), глубокими философскими замечаниями: «Что ни делай, а фрезерный станок, бабоньки, на крыльях не полетит...» (их НИИ занимался проблемой усовершенствования фрезерных и строгальных станков). Исходя из своей философии, Федор Федорович разрешал женщинам отлучаться с работы практически в любое время дня, чем те и пользовались без всякого зазрения совести; пользовалась этим, конечно, и Надежда. Иной раз, правда, ее охватывал странный мистический ужас: Господи, думала она, ну провались наш злосчастный отдел (графики и ретуширования) хоть сквозь землю – изменится ли что-нибудь в мире, пусть не в мире, а хотя бы в их НИИ?! И, честно отвечая себе, решала: ничего не изменится. Она видела, как на столе Федора Федоровича изо дня в день росла папка с графиками и чертежами, он ставил решительную резолюцию, после чего папки перекочевывали на стол к Надежде, официально – замначальника отдела. И вот Надежда, человек с высшим образованием, пять лет проработавшая в политехническом институте, за каких-нибудь десять – пятнадцать минут сверяла чертежи с оригиналами, подчеркивала неувязки и несовпадения, расписывалась и передавала папки Аде. Пышнотелая, флегматичная, с томными глазами, техред Ада, сутью которой были мечты о настоящих мужчинах с Кавказа и за которой, кроме того, водилась страсть навязывать всем мысли о православии и русских самобытных подлинных иконах (в чем, разумеется, они ни бельмеса не разбиралась и никогда бы не смогла ответить даже на простейший вопрос: христиане ли католики?), так вот эта Ада полдня, а то и весь день могла не ударить палец о палец, а затем в одну минуту поставленным каллиграфическим почерком намечала карандашом подписи к схемам и рисункам, расписывалась, ставила дату, и папки перекочевывали к Люсе. Собственно говоря, Люся была единственным практическим работником в отделе (а именно – графиком), она быстро дочерчивала и прочерчивала тушью все, что было нужно, затем закрепляла тушь, протравливала рисунки раствором йода, сушила – и на этом работа отдела кончалась. Люся все делала быстро, всегда торопилась то в магазин, то домой (и туда, и сюда Федор Федорович отпускал ее с легкой душой: у Люси, в общем-то молодой, тридцатилетней женщины, было трое детей, и она вечно куда-то спешила, за собой почти не следила, о мужчинах не говорила, про любовь не вспоминала, голову помыть и сделать прическу и то для нее было целой проблемой), но по сути дела Люся тащила на себе работу отдела, и поэтому ей позволялось и прощалось все. В отделе к тому же числилась еще одна сотрудница – художница Зоя, худая, желчная, вечно брюзжащая женщина, ненавидящая мужчин до спазм в горле; а ненавидела их скорей всего потому, что они ни при каких обстоятельствах не обращали на нее никакого внимания. В отделе подозревали: уж не девственница ли она?.. Вообще-то Зоя при-

надлежала отделу художественного оформления, но практически осуществляла связь между своим отделом и отделом графики, поэтому и сидела у них в комнате.

И вот в таком отделе Надежда работала, в таком отделе день за днем пролетала ее жизнь, – жизнь ли это? Однообразная, жестокая в своей бессмысленной череде копеечная работа...

Работа, которую Надежда в глубине души ненавидела.

Ненавидела Федора Федоровича. Ненавидела Зою. Не выносила Аду. И только на Люсю смотрела с некоторой оторопью, а иногда и с завистью: трое детей, загнанная как лошадь, а надо же – никогда не жалуется, никакого не клянет, ни о ком не вздыхает и только всегда спешит, спешит, спешит... Честное слово, какая-то загадка.

Надежда перемыла посуду, влажной тряпкой протерла в комнате паркетный, покрытый лаком пол (Феликс постарался когда-то), вытрясла на балконе коврики; включила музыку; села пить густой, свежесваренный чай...

Как хорошо, когда в комнате чисто, музыка, никого нет, а на столе дымит чашка ароматного чая...

Надежда пила чай; набрала номер отдела.

– Федор Федорович? Привет. Что новенького?.. Это хорошо. У меня? Все в порядке. Просто задержусь немного. Да, кое-какие дела. Приеду после обеда. Ну, салют!

«Надо же, и не спросит ничего. Какая деликатность...»

Несколько дней назад Надежда написала заявление – прошу уволить по собственному желанию. В отделе всполошились: как, да что, да почему... Надежда правду никому не объяснила, сказала только, что якобы переходит на работу к мужу, к Феликсу... Прозвучало это довольно убедительно – Феликс заведовал экспериментальной лабораторией на заводе подъемно-транспортного оборудования, и поскольку Надежда, подавая заявление, была как будто расстроена (а как же, переживает, столько лет проработали вместе в отделе, такие все прекрасные, деликатные люди, один Федор Федорович чего стоит, душа человек, сама доброта, о женщинах и говорить не приходится, такие все славные, умные, сердечные...), особых вопросов Надежде не задавали, решили: все успеется. Когда надо – Надежда, родная душа, сама все расскажет...

Но разве могла она сказать им правду? Услышь они, что она задумала, небось не поверили бы ушам своим...

Попив чаю, Надежда быстро собралась, постучала на всякий случай в комнату Татьяны. Там, конечно, никого не было: на работу Татьяна уходила рано, к тому же Андрюшку надо отводить к семи часам в детский сад. Что она хотела спросить у Татьяны? Сама не знала. Просто давило смутное чувство вины перед ней: плела вчера в ее комнате какую-то ахинею, плакала, на коленях стояла... В самом деле, что ли, в киноактрисы готовится? Черт знает что... Стыдно перед девчонкой, ведь Татьяна – совсем молоденькая, девчонка по сравнению с Надеждой, и вот на тебе... отмочила вчера... Вспомнилась к тому же Наталья, и под сердцем заныло тягучей, больней... Как найти с дочерью общий язык? Что-то нежное, хрупкое, неуловимое в их отношениях как будто ускользнуло куда-то во мрак. В их совсем еще недавней близости, чувстве родства, взаимном понимании образовалась трещина, если не пропасть, – и что теперь делать, как исправить положение?

Одно она поняла сегодня утром отчетливо: надо увидаться с Феликсом, поговорить с ним. Дай только, Господи, сил и терпения разговаривать с мужем спокойно, не сбиваться на упреки, не вспоминать прошлые обиды. Просто поговорить, посоветоваться, что делать, как жить дальше...

Дверь ей открыл сам Феликс: у него были до локтей засученные рукава, мокрые ладони, кой-где на руках обсыхала мыльная пена.

– Пеленки стираю, – ответил он на немой вопрос Надежды; при этом улыбнулся, но не виновато и не смущенно, как ей хотелось бы, а спокойно, даже с некоторой гордостью. «Ну-ну», – подумала Надежда насмешливо, а вслух сказала:

– К тебе можно? – как будто не увидела ни мыльной пены на руках и не услышала никаких слов про пеленки. Вообще-то ее подмывало сразу съязвить, сказать что-нибудь вроде: «Как всегда, в няньки записался? Господи, когда только переведутся мужики в юбках...» – но не стала ничего говорить, чтобы не обострять разговор с самого начала. Не затем шла, нет, слава Богу, не затем.

– Могла бы и не спрашивать. Проходи. Я сейчас... – Он показал ей на комнату, а сам нырнул в ванную. Надежда сняла плащ, сапоги. В коридор, на звук голосов, вышла Светлана.

– Ой, тетя Надя! Здравствуйте!

– Привет, Светлячок! – Надежда почти всегда звала так Светлану. – Ну, показывай своего богатыря. Как он?

– Такой беспокойный, целыми ночами кричит... Руки отваливаются, качаю его, качаю...

– Зря к рукам приучаешь. – «Ну зачем я это говорю? О Господи!» – Потом не отводишь его.

– А что делать? Не спит. Кричит. Пойдемте, покажу его...

Светлана повела Надежду в свою комнату.

– Бабушка как? – почему-то шепотом спросила Надежда, когда проходили мимо закрытой комнаты Евгении Петровны. «Черт знает что, – подумала тут же. – Никогда не могу быть самой собой в этом доме».

– Болеет. – И на вопросительно-удивленный взгляд Надежды добавила: – Простыла. Температуру сбили, сейчас спит...

«Вечно ее угораздит», – с непонятным раздражением – ну почему? – подумала Надежда, а для Светланы сказала:

– У меня сушеная малина есть. Может, принести? Чай с малиной очень помогает...

– Не надо, спасибо. У нас малиновое варенье есть. Только бабушка сейчас ничего не хочет, говорит: оставьте меня в покое.

«Оставьте ее, видите ли, в покое...» – подумала Надежда, сказав:

– Все больные всегда капризничают...

В комнате Светланы в детской кроватке безмятежно и совершенно спокойно спал Ванюшка. Он был не просто запеленут, а завернут в голубой теплый кружевной конверт: виднелся лишь рот да кнопка по-смешному вздернутого носа. Надо сказать, в комнате не только форточка, но и окно были распахнуты («Закаляем», – сказала Светлана), так что смотреть долго не пришлось. Надежда, признаться, не испытывала никакого умиления, вообще никаких чувств, все это было чужое для нее, изначально чужое, и она ничего не могла поделать с собой, однако она хорошо знала, что промолчать в такой ситуации – верх оскорбления для любой матери, и поэтому как можно искренней, теплей сказала:

– Знаешь, Светлячок, а он заметно подрос...

– Правда? – обрадовалась Светлана.

– И лицо стало... осмысленное... как у взрослого...

Ванюшке шел четвертый месяц, и, наверное, недели три-три с половиной Надежда не видела его; стало быть, ничего удивительного, что он подрос и что лицо изменилось, – так и было на самом деле: выходит, Надежда как будто и не лгала.

– Я когда кормлю его, глупыша, знаете, тетя Надя, он чмокает и так серьезно, строго смотрит на меня... – улыбалась Светлана, почти счастливая от слов Надежды. – Я говорю: глупыш, ну, чего так смотришь на маму, боишься, что грудь отберу, да? Не бойся, дурачок, ешь, пока хочется, вон у меня молока сколько, так и бежит, так и катится...

Рассказывая, Светлана показывала на халат: действительно, то здесь, то там явственно различались струйки-дорожки сочащегося в избытке молока. Надежда окинула Светлану внимательным, потайным взглядом: сколько света, счастья, неподдельной радости исходило от нее, и вся она – всегда такая милая, хорошенькая, приветливая – еще больше расцвела, хотя, казалось бы, как можно стать краше, чем она была? Но она стала, стала краше, и это отдавалось в сердце Надежды невольной завистью, похожей даже на боль...

Они пришли на кухню, и Светлана на правах хозяйки сразу поставила на газовую плиту чайник.

– Ой, Светлячок, я ничего не хочу. Только что из-за стола, – стала отказываться Надежда.

– Но как же? – удивилась Светлана. – Нет, так нельзя...

У нас, кстати, от вчерашнего торт остался. «Прага». Хоть кусочек попробуете, тетя Надя... такая вкуснятина!

– А что вчера было?

– Три с половиной месяца Ванюше исполнилось. Ой, представляете, три с половиной уже! Поверить не могу.

– погоди, Светлячок, оглянуться не успеешь – ему три года стукнет...

На кухню, держа в руках таз, в котором ворохом лежало детское белье, вошел Феликс.

– Чайник поставили? Молодцы, – улыбнулся он улыбкой человека, который только что закончил хорошее полезное дело.

– Папа, дай я развешу, – взялась за тазик Светлана.

– Нет уж, позвольте-ка сделать это мне! – Надежда решительно забрала у Феликса тазик – она терпеть не могла, когда Феликс занимался женской работой, порой просто ненавидела его за это. Почему? Ведь знала, что он делает все искренне, то ли нравится ему, то ли исконная внутренняя привычка – помогать всем, кому тяжело в данную минуту, – знала, а ничего поделаться с собой не могла, воспринимала как некий укор не только ей одной, а всем женщинам, которые сами не могут или не умеют справиться с делами.

Надежда взобралась на табуретку, тазик поставила на холодильник – чтоб был повыше, брала пеленку, или распашонку, или простынку, крепко, почти зло встряхивала их, потом вешала на веревку над газовой плитой, закрепляя белье прищепками.

Заплакал Ванюшка; Феликс было рванулся из кухни, но Светлана опередила его:

– Па, ну чего ты? Я сама...

– А-а, ну да, да. – Плач Ванюшки Феликс переносил тяжелей всех: стыдно признаться, но у него как будто сердце обрывалось, когда он слышал его жалобный слезный голос.

«Ну, а как же: дедушка, – ядовито усмехнулась про себя Надежда. – Дедушка! Господи! Ну и чему тут радоваться? Чем гордиться? Чего с ума сходить?..»

Надежда развесила белье, а Феликс, пока из комнаты доносился плач Ванюшки, не находил себе места, то сядет, то встанет, и как же остро, ощутимо остро, до боли в сердце ненавидела его в эти секунды Надежда!

– Между прочим, – сказала она, – я ушла с работы. – Она знала: уж этим-то она обязательно проймет его.

Но Феликс откликнулся на ее слова не сразу, как бы не совсем понял их, а когда понял, уловил смысл, то и в самом деле разволновался, верней – взъярился:

– Ты что, с ума сошла?!

– А что? Сказала, что перехожу к тебе в лабораторию. Под твоё начало.

Несколько секунд он смотрел на нее молча.

– Мне бездельницы не нужны.

– Ну ты! – отпарировала она зло. – Кандидат каких-то там непонятных наук. Ты не очень-то! – И тут же пожалела о сказанном: «Ну зачем опять? Господи, какая дура. Просто беспроектная, Господи...»

Взгляды их скрестились, как шпаги; но Феликс всегда был сдержанней Надежды, он понял – что-то с ней не то, простил ей ее слова, спросил как можно ровней:

– Что случилось?

– Ничего. Просто написала заявление. По собственному желанию.

– Почему?

– Потому что надоело быть бездельницей, как ты правильно заметил. Вот так уж сыта. По горло. Под самую завязку! – Она резанула ребром ладони по шее.

– А если серьезно?

– Разве тебя когда-нибудь интересовала моя жизнь всерьез? – А про себя подумала: «Ну вот, опять завожусь... Нет, так и помру душой...»

– Всегда интересовала, – ответил Феликс.

– Всегда тебя интересовала только твоя жизнь. Жизнь родной мамочки. Жизнь Светланы. А теперь еще – внука. А наша с Наташей жизнь для тебя никогда ничего не значила.

– Еще что скажешь?

– А то и скажу, что где-то ты хорош, а где-то тебя днем с огнем не сыщешь!

– Мы развелись, и ты сама в этом виновата.

– А в чем виновата Наташа?

– Она – ни в чем. Ей просто не повезло, что у нее такая мать.

– Зато повезло с отцом.

– Чего ты от меня хочешь?! – спросил он резко, в упор; ему надоело это фехтование словами.

Господи, если бы когда-нибудь она смогла ответить на этот вопрос! Если бы когда-нибудь ей дали возможность ответить на предельной искренности, глубоко, прямо! Впрочем, кто не дает ей такой возможности? Просто она не в силах ответить на элементарный вопрос: чего она хочет от него?! Не в силах! Она хотела его самого, всего, со всеми его слабостями и достоинствами, чтобы он принадлежал только ей, ей безраздельно, не могла она делить его с кем-то, делить и знать, что ей принадлежит только одна какая-то, ничтожная часть этого человека, она не рассчитала свои силы, вышла замуж за человека, у которого была семилетняя дочь, у которого глубоко в сердце свило себе гнездо глубокое горе: умерла первая жена, о нет, Надежда не жалела его, нет, она вышла замуж за него не из жалости, она любила его, как трудно было даже представить, что так можно любить на свете, но она не рассчитала свои силы, у него осталась мать, осталась дочь, он рвался между ними – между любимыми, а она тогда еще не знала, что это такое – когда любимый принадлежит тебе не весь, когда он рвется на части, она не думала, что любовь любимого к другим – это страшная казнь, потому что в какой-то момент ты осознаешь: ты – не весь мир для него, ты – не начало и не конец его жизни, ты – это ты, не больше, а тебе хочется большего, тебе хочется, чтобы никого, кроме тебя, не было для него на свете... Никого!

Так чего же она хочет от него?!

Именно этого – его самого. Целиком. Безраздельно. Но как раз это-то и невозможно на свете.

– Неужели между нами все кончено? – после долгой паузы удрученно спросила Надежда.

– У нас есть Наташа.

– Да, Наташа... – Она чувствовала, как незаметно начинают подбираться к глазам слезы, но сдержала себя, пересилила. – Кстати, я пришла к тебе поговорить о Наталье.

– Что случилось?

– Она стала невозможной. Грубит. Забросила учебу. Уходит из дома...

– Ты сама в этом виновата. Перестань водить в дом компании. Возьми себя в руки.

– А ты?

– Что – я?

– Ты ни в чем не виноват?

– Я бы с удовольствием забрал ее у тебя. К сожалению, это невозможно...

– Ты бы с удовольствием лишил меня всего и заточил в тюремную камеру. В одиночку.

Или бросил на съедение крокодилам...

– У меня никогда не было такой богатой фантазии, как у тебя.

– Спасибо за комплимент.

– Пожалуйста.

Господи, о чем они говорят? Как выбраться из этого заколдованного круга взаимных подковырок и упреков, пустых, обидных, унижительных препирательств? Когда, почему случилось это? С чего началось? Ведь любили когда-то, как еще любили друг друга...

Вошла Светлана.

– Папа, чайник вовсю кипит, а вы сидите...

– Правда, – удивленно проговорил Феликс. Чайник не просто кипел – он всю кухню наполнил паром, даже окна отпотели. Надо же, ничего не замечали, пока разговаривали. – Сейчас, сейчас, – засуетился Феликс.

– Ладно уж, я сама заварю, – улыбнулась Светлана. – Сидите разговаривайте...

– Очень жаль, Светлячок, – вздохнула Надежда, – но мне уже некогда. Я ведь с работы отпросилась, всего на час. Надо идти.

– А как же торт, тетя Надя? Это «тетя Надя» всегда резало слух Надежде, особенно когда Светлана выросла. Тринадцать лет разницы – двадцать три и тридцать шесть, – ну какая она для Светланы «тетя»? И все-таки иначе Светлана никогда не называла ее, даже в лучшие дни и годы.

– В другой раз, Светлячок. – Надежда поднялась из-за стола. – Как-нибудь загляну вечером. Вместе с Натальей. Посидим, поговорим.

– Только обязательно, тетя Надя! И Владик будет дома. – (Владик – это муж Светланы, студент; сейчас он был в институте.)

– Договорились. Ну, до свиданья! – Надежда поцеловала Светлану в щеку. Взглянула вопросительно на Феликса.

– Пойдем, я провожу тебя. – Феликс поднялся со стула.

Проводил, естественно, только до двери. «Большого, конечно, не заслуживаю...» – подумала Надежда с горькой усмешкой. Снова взглянула на него – стояли у распахнутой двери, оба чувствовали неловкость прощальной минуты.

– К нам решил совсем не заходить?

– У тебя плохая память. Я бываю у вас каждую неделю. Не меньше двух раз.

– На прошлой неделе не был ни разу.

– Мама приболела.

– Понятно. Передавай ей привет! – Она насмешливо – специально насмешливо – улыбнулась. – Ну, бывший муженек, до свиданья, что ли?!

– До свиданья, Надя.

– Ого! В первый раз сегодня назвал по имени.

– Разве? Извини. Грубею.

– То-то! – Она улыбнулась – легко, широко, свободно, улыбкой женщины, которая не знает ни горечи, ни обид, ни поражений. Впрочем, вряд ли удалось обмануть Феликса – уж кого-кого, а ее-то он изучил за годы совместной жизни.

Дверь закрылась, Надежда сделала первый шаг по лестнице, лицо ее исказилось от внезапной гримасы, и крупные частые слезы покатились из глаз. Вышла на улицу – слезы побежали еще сильнее...

Горькая обида давила ей сердце. Такая тяжесть на душе, такая безысходная тоска... И слезы... Сколько в них было сладости, праведности, как они омывали душу жалостью к самой себе: они терзали и мучали, но в них одних было сейчас утешение и успокоение...

Она шла по улице, плакала, никого не стесняясь и ничего не замечая... Феликс... Он всегда внушал ей мысль, что она сама во всем виновата, но она не умела, не хотела признать себя виновной. Виновата, что любила? Но разве бывает такая вина? Верней, разве справедлива расплата за то, что ты любила человека безмерно, без оглядки, как слепая, почти как сумасшедшая? Поначалу все было хорошо, он, она, его маленькая дочь, его стареющая больная мать... Все были вежливы, предупредительны, сама деликатность, сама воспитанность. И Надежда (ей было тогда двадцать лет!), так боявшаяся его семьи, его матери, его дочери, почувствовала: она родная здесь, ее приняли как самого близкого человека, Светлана – Светлячок – тянулась к ней, и не потому что забыла мать (как она могла забыть ее, ведь ей было тогда семь лет!), тянулась просто из естества своей природы, из дружеского расположения ко всем людям, особенно к тем, которых любил отец и которые любили его, тут не было никакого оптического обмана, все искренне, все правдиво, и Надежда чувствовала счастливую, даже несколько тревожащую душу благодарность Светлане за ее детское приятие, за непосредственность, за ласковый неподдельный щебет.

А Евгения Петровна? С ней тоже все обстояло нормально, во всяком случае, Надежда не испытывала никакой вражды с ее стороны, хотя, надо сказать, матери Феликса было нелегко; она искренне любила первую жену сына, переживала ее смерть так, что не раз сваливалась в постель – подводило больное сердце, однако жизнь есть жизнь, этим успокаивала и утешала себя Евгения Петровна, и нужно было во что бы то ни стало выкарабкиваться всем вместе из беды – в первую очередь ради Светланки, ну и ради Феликса, конечно, тоже. Разумеется, Евгения Петровна присматривалась к Надежде настороженно, ее пугала молодость новой жены Феликса, она искренне боялась, хотя и не показывала вида, что душой Надежда не совсем созрела, чтобы нести на себе неожиданное бремя матери-мачехи, – так оно и случилось, не нравилось ей и то, что Феликс с Надеждой чересчур влюблены друг в друга (но тут уж ничего не поделаешь), живут будто ослепленные. Эта взаимная ослепленность, считала мать, никогда ни к чему хорошему не приводит. Проходит время, и вдруг открываются глаза на то, кого так искренне боготворишь, – и что потом? – разочарования, обиды, ссоры, боль...

С чего началось у них? С чего – сказать трудно, а вот когда именно – ответить легче. Родилась Наташа – и почти сразу все изменилось, и изменилось не в семье, а в самой Надежде, в ее восприятии жизни, в том, какими глазами стала она смотреть на Феликса, на его дочь, на Евгению Петровну и какими – на свою дочь, на божественное чудо, какое даже и представить себе не могла раньше, не могла подумать, что так это все бывает в действительности – что-то самое родное, близкое, любимое, необыкновенное, чем все на свете должны восхищаться и восторгаться. Впрочем, так все и было, разве кто-нибудь не восторгался, не говорил Надежде самых лестных, самых добрых слов? Их, может быть, говорили даже чересчур много, хотя Надежда этого не замечала, для нее казалось естественным – ее дочь просто чудо, посмотрите, какие у нее глаза, нос, какие кудряшки завиваются на затылке, а какие пухленькие ноги, какие тонкие пальчики, как симпатично она зевает, как жадно берет грудь, как потешно пыхтит... Кто не знает, впрочем, всех этих умилений матери ребенком? В этом-то, случается, и драма, как вот, например, с Надеждой... Вдруг в сердце ее – непонятно как, откуда, почему – проснулась ревность... Да какая ревность! Надежда не могла спокойно видеть, как Феликс, скажем, ласкает Светлану (улыбаясь, гладит ее волосы), когда Надежда кормит грудью Наташку... Или не выносила, если Светлана ластилась к отцу, в то время как рядом, в детской кроватке, так мило и забавно – разве они не видят? – сучит ножками Наташа. Почти с ненавистью наблюдала Надежда и за Евгенией Петровной, когда та, к примеру, в хорошем веселом настроении, прибираясь в квартире, не один раз проходила мимо стола, на котором Надежда пеленала дочь,

но ни разу не остановилась, не сказала: ой, какая красивая у нас девочка, какая умница, как выросла за последнее время!.. Все знаки внимания, которые, как обычно, оказывали друг другу Феликс, Светлана и Евгения Петровна, вдруг стали ненавистны Надежде, воспринимались ею как личное оскорбление. Поначалу Надежда пугалась собственных чувств, внутреннего раздражения, укоряла себя за глупость, за нелепость несправедливых мыслей, испытывала в душе растерянность, а то и искреннее раскаяние, но со временем Бог знает куда исчезла эта внутренняя борьба, истаяла, улетучилась, будто и не было ее там никогда. Надежда напоминала нахохлившуюся птицу, которая, даже когда ее не обижали, а наоборот – подходили погладить, приласкать, вдруг еще больше цепенела, как будто изначально не верила в человеческую доброту, раз и навсегда разуверившись в ее естестве и наличии.

Случилось то, чего так боялась Евгения Петровна: между Светланой и маленькой Наташей встала, как пропасть, эгоистичная материнская любовь Надежды к своей дочери.

Ну, и начались, конечно, первые ссоры, первые недоразумения...

А кончилось все вот этим – полным крахом.

...Она шла, плакала от всех этих мыслей и воспоминаний и наконец устала от слез, от бесконечного душевного самоистязания; остановилась, вынула платок из кожаной, с плетеными ремешками сумки – подарка Феликса на Восьмое марта, горько усмехнулась, вытерла глаза; тут кстати оказалась скамейка. Надежда присела на краешек, достала зеркальце, тушь, кисточку, тени, привела в порядок ресницы и веки. Улыбнулась. Странно, она вдруг сама понравилась себе – глубокий, страдающий взгляд, грусть, синие печальные веки, длинные темные ресницы, – Господи, подумала невольно, если бы я была мужиком, разве бы устояла, разве могла бы не влюбиться в такую женщину?.. И, улыбнувшись во второй раз, еще больше понравилась себе, стало на душе вдруг легко и беспричинно весело – сколько раз в жизни удивлялась она этим резким переменам в собственном настроении: то хоть в петлю лезь, а то колокольчиком зазвенишь. И главное – почти в одно и то же время...

Посидела Надежда немного на лавочке, отдохнула, успокоилась, повеселела; если б не на работу, в этот гнусный отдел, может, и совсем легко стало бы на душе. Впрочем, что она переживает, совсем скоро она станет вольной птицей...

Вот что она забыла сказать Феликсу!.. Верней, сказать-то она сказала, что увольняется, но не сказала главного – ради чего, почему это делает. А ведь это, возможно, была тайная пружина, тайная мысль, из-за которых она отправилась к нему. То есть поговорить о Наташе – это да, но тайное-то, тайное... Она хотела как бы ненароком похвалиться перед ним, утереть ему нос, возвыситься над ним...

И что же? Опять, как много раз в жизни, разразилась словесная перепалка, и ведь забыла, забыла сказать, что не просто уходит с работы, а уходит в кино... Да, да! В кино? – удивился бы он и наверняка не поверил бы, ядовито усмехнулся: ну-ну, рехнулась совсем девушка на старости лет, что бы ни делать – лишь бы заливать, как всегда... А ведь это правда – она уходит в кино. Ну, не в актрисы, конечно (хотя актрисы что, из другого теста сделаны или, может, она хуже их сложена, не так привлекательна? Это еще как посмотреть!), но главное и не это сейчас, главное – войти туда, в тот заманчивый мир, заманчивый не просто потому, что – кино, а что – творчество, тут тебе не какой-нибудь замухрыжистый отдел с четырьмя дурами и одним идиотом во главе, здесь – всегда разнообразие, поиск, интересные люди, неожиданные встречи, интеллигентные разговоры, здесь мысль, блеск, новизна, одним словом – настоящая жизнь.

Что может быть привлекательней настоящей жизни? К чему стремятся все люди на земле, со всеми их явными и тайными помыслами? К настоящей жизни!

Конечно, Феликс всегда презирал и презирает компании, которые бывают у нее, считая всех подряд бездельниками и хвастунами. Но разве случилась бы с ней эта значительная перемена в жизни, верней – разве могла бы она случиться, если бы у нее не собирались компании? Однажды Надежда с Зоей возвращались с работы, дорогу им преградили два странных чело-

века – прекрасно, даже изысканно одетые: джинсы, вельвет, замша, кожа, цветастые платки на шее; озорные веселые глаза, легкий юмор, шутки, смех, уверенные движения, но – самое главное – вот это: налет свободы, свободы во всем, что они делали, говорили, как смеялись, как шутили... А странность сцены заключалась в том, что в руках один держал трехлитровую банку, другой – бидон (все – с пивом), и, кривляясь, шутя, но оставаясь неизъяснимо изысканными, как бывает изыскан любой современный модный, уверенный в себе симпатичный нахал, они стали предлагать им выпить вместе – вот прямо сейчас, здесь, на улице. А что? Некрасиво?

У нас просто праздник, у нас гонорар, у нас деньги, девушки, о, у нас большие деньги, у нас даже хватило денег, чтобы купить шесть литров прекрасного пенистого пива, – и потом, мы встретили вас, вы такие симпатичные, умные, такие прямо родные, почти любимые, ну, кто из вас первой пригубит ядреного пивца прямо из банки?

Зоя, конечно, верная своему правилу ненавидеть не только этих нахалов, но вообще всех мужчин без разбору, тут же растворилась в пространстве: «Ты не идешь, нет?» Надежда, смеясь, ничего не отвечала, только радостно качала в отрицании головой, и Зоя растворилась, а Надежда осталась, познакомилась с ними. Оказалось – такие чудесные ребята, «киношники», как их нынче называют. Операторы. И не успели оглянуться, как уже были в гостях у Надежды, пили пиво, потом коньяк, черт знает что, такая вот смесь получилась...

А потом они познакомили ее с режиссером. С Владленом. И как-то Владлен сказал: хочешь в кино? О нет, не актрисой, а просто – работать в кино? Скажем, ассистентом директора, всякое там киношное хозяйство и прочее, хочешь? Она кивнула. Она хотела. Что угодно, только не ужасный этот отдел, где всегда одно и то же. Одно и то же...

Вот об этом обо всем она не рассказала Феликсу. Не успела. Не смогла. Да и трудно было рассказать так, чтобы выглядело все серьезно, хорошо, чтобы он поверил – это не шутка, не блажь, это нужно ей, иначе можно просто задохнуться от бесконечной череды ежедневной пошлости и однообразия...

Ну, а пока... А пока надо идти в НИИ. Хочешь, не хочешь, а денечки отрабатывать надо. Ничего не поделаешь...

Надежда поднялась со скамейки и решительно зашагала на работу.

Было двенадцать часов дня. Ровно полдень.

III. Мельниковы

За Андрюшку Татьяне не беспокоилась – вечером с ним посидит Наташа. Так уж у них повелось: когда надо, она всегда выручала Татьяну; к тому же Наталья была лучшей нянькой на свете, никогда не сюсюкала с Андрюшкой, а вела с ним себя так, будто они одного возраста, верней – будто Андрюшка давно взрослый и разумный. Удивительное дело, с Натальей он именно так себя и чувствовал...

...На опорный пункт они отправились сразу после работы. Их было шесть человек, молодых ребят с ткацкой фабрики, которые раз в неделю участвовали в рейдах оперативного отряда. Другие ребята помогали транспортной милиции – чаще всего на железной дороге, еще часть – занималась шефством над трудными подростками, некоторые специализировались на столовых, магазинах и кафе – помогали ОБХСС. Татьяна перепробовала все, но больше всего ей нравились оперативные рейды – самое живое и интересное дело... Сегодня им предстояло совершить «поход» на чердаки, в подвалы, заброшенные котельные, идущие под снос пустующие дома, где по вечерам собирались подростки тринадцати – шестнадцати лет, курили там, играли в карты, тискали девчонок, дрались из-за них, дрались просто так – в общем, полный букет вольной жизни.

Командовал отрядом (верней, координировал действия милиции и молодежного отряда) старший лейтенант Жиров. Для них, конечно, он был не старший лейтенант, а просто Сергей, даже Сережа. Моложавый, с узкой щеточкой бурорыжих усов, в веснушках, часто улыбающийся, Жиров поначалу многим казался таким добрячком, мальчишкой, но, когда он выезжал на задание, облик его менялся, улыбка исчезала с лица, а вместо нее появлялось выражение сосредоточенности и даже угрюмости. И это имело свой смысл, потому что во время рейдов, не всегда безопасных, каждый в отряде должен был помнить об осторожности...

К оперативным рейдам привлек Татьяну именно Жиров, хотя она, наверное, до конца не осознавала этого. О том, что Татьяна замужем и у нее есть ребенок, Жиров хорошо знал, но что поделаешь – она нравилась ему, и он постарался сделать так, чтобы Татьяна чаще участвовала в его рейдах, привыкла к ним; так оно и получилось. Позже Татьяна думала, что она сама полюбила рейды, на самом деле во многом тут виноват был Жиров. За ним вообще водился один «грех» – переманивал Татьяну работать в милицию. Наблюдательный да к тому же еще влюбленный, он заметил, как искренне переживает Татьяна за всякую изломанную ребячью судьбу, а таких судеб проходили перед ними не одна, не две, а десятки... Обозленные, горящие ненавистью глаза ребят, пойманных на каком-нибудь чердаке, их грубые, ни себя, ни других не жалеющие слова и оскорбления, затравленное состояние, когда их припирают к стенке и не остается ничего другого, как признаваться и «раскалываться», а «раскалываться» так не хочется, – все это действовало на Татьяну угнетающе, больше того – она вдруг внутренне становилась на сторону обозленных, огрызающихся «волчат», и стыдно было, что она такая глупая и непоследовательная, черт знает какая каша творится на душе... Надо сказать, она никогда никому не признавалась в своих мыслях, и Жиров, конечно, тут не был исключением, но он-то все подмечал, все чувствовал, инстинктом влюбленного догадывался о мучениях, которые одолевали Татьяну. И поэтому однажды прямо предложил ей: переходи к нам, ну, если не совсем к нам, то в инспекцию по делам несовершеннолетних – там такие, как ты, во как нужны! – и, улыбнувшись, он провел ребром ладони по горлу. Татьяна отмахнулась от его слов, как от шутки... Но предложение это не забыла. Помнила. Помнила, правда, как о чем-то неральном, несбыточном...

...Осенний вечер настаивался густой, холодный, и, если б не звезды, яркие, крупные, наверное, в метре ничего бы не было видно, такая крошечная тьма опустилась на эти окраинные дома. Машина подъехала тихо, метров за сто от дома выключив фары – чтоб не дай

Бог сверху пацаны не смогли разобрать милицейский фургон. Жиров включил рацию, вызвал опорный пункт:

– Чайка, я Орел. Нахожусь в заданном районе. Разрешите начать операцию?

– Орел, вас слышу. Можете начинать. Прием.

– Вас понял, вас понял. Приступаю к заданию.

И в открытую дверцу машины Жиров тихо сказал:

– Так, ребята, как всегда – по двое к каждой чердачной лестнице. Пять человек со мной, в том числе Мельникова. Оставшимся – по одному у подъездов. Гуськов, распорядись сам.

Гуськов – командир молодежного отряда (он был слесарем с той же ткацкой фабрики, что и Татьяна) – быстро распределил людей, и ребята по одному выбрались из машины.

– Так, кто со мной? Пошли! – скомандовал Жиров. – Мельникова, ты здесь?

– Здесь, здесь, – шепотом ответила Татьяна.

Жиров выбрал средний подъезд. Осторожно поднялись на пятый этаж. А средний он выбрал потому, что считал: самое верное – оказаться сразу в центре чердака, вклиниться в пространство, так что хоть слева, хоть справа – путь для отступления короткий, застать ребят врасплох гораздо легче.

– По одному. За мной! – скомандовал Жиров и первым полез по лестнице на чердак. – Мельникова, не отставай.

– Да здесь я! – едва ли не раздраженно, но все-таки шепотом отозвалась Татьяна. «Вот уж прилипнет – так не отстанет...» – подумала невольно. По лестнице она забиралась следом за Жировым.

Наверху, перед самым люком, Жиров замер, бросил взгляд вниз: все ли готовы? Можно ли начинать? Большинство не в первый раз участвовали в подобных операциях, ни ругать, ни подгонять никого не пришлось.

– Ну, начинаем, – прошептал Жиров и резко толкнул люк вверх. Видимо, он был чем-то придавлен, потому что открылся не так легко, как на это надеялся Жиров. Несколько дорогих секунд для внезапного появления было утеряно, да что делать... Жиров рванулся на чердак.

В дальнем левом углу сразу бросилась в глаза группа играющих в карты ребят. Самое удивительное («Надо же!» – отметил автоматически Жиров) – играли не при свече, как обычно бывает в таких случаях, нет, – над ними полыхала самая настоящая электрическая лампочка. Но все это мгновение. Вскрик. Свист. Кто-то ударил по лампочке. Посыпалось стекло, и сразу сплошной мрак окутал чердак. «Всем стоять!» – крикнул Жиров, нажав на кнопку фонарика. И вот тут случилось непредвиденное: фонарик не сработал. Хрустел под ногами убегающих гравий, злой шепот, ругань. Правда, думал лихорадочно Жиров, деваться им все равно некуда – все лестницы перекрыты. На беду, второй фонарик оказался только у самого последнего в группе – у замыкающего Гуськова. Пока он забирался наверх, на чердаке становилось – подозрительное дело – все тише и тише. Татьяна шагнула в темноту, пошла на ощупь к тому месту, где только что играли в карты. Кто-то сильно пихнул ее, она упала. Взметнулся яркий сноп света гуськовского фонарика. Жиров бросился к Татьяне: «Что? Что с тобой?» – «Так, ничего, – махнула рукой Татьяна. – Споткнулась». Она хорошо запомнила голос: «Падла-а...» Было больно и обидно. Фонарик шарил по чердаку, метался из стороны в сторону. Как будто вымерло все. Ни шепота, ни звука. Спрятались? «Ну, по одному! – скомандовал Жиров. – Выходи!» Но слова его повисли в воздухе. Когда подошли поближе к пяточку, где шла игра, открылась неожиданная картина: с чердака, оказывается, был еще один лаз – запасной, который вел прямо к пожарной лестнице. Вот этого-то они и не учли! Воспользовавшись темнотой, беглецы спокойно и беспрепятственно спустились по лестнице, расположенной на торце дома, – так что внизу их тоже не увидали. «Ах, черти! – ругался Жиров. – Ну надо же! Как я мог забыть? Ведь на этих домах есть запасной выход!...»

Начали рассматривать место, где велась игра. Посередине возвышался чурбачок, вокруг которого, опрокинутые в спешке, валялись всевозможные ящики, служившие игрокам стульями. Повсюду разбросаны окурки, спички. На чурбачке лежало несколько карт, брошенных в суматохе, – собственного производства.

– А вот свет у них откуда? – вспомнил Жиров.

Взял у Гуськова фонарик, посветил на потолок. На поперечной балке пристроен самый настоящий патрон, из которого торчали рваные, в острых зазубринах осколки лампы. Жиров выхватил светом проводку. Так, провод спускается вниз, лежит прямо на хрустящем гравии. Жиров наклонился, взял проводку в руки и, как на поводке, пошел вслед за шнуром. Шнур вел к одному из чердачных лазов, нырял вниз. Жиров откинул люк – с лестничной площадки ударил в глаза ослепительный свет. Но что больше всего поразило Жирова – шнур тянулся к электрическому щитку. Жиров спустился по лестнице, открыл дверцу распределительного щитка. Так и есть – провод был «вживлен» в общее питание, да так грубо и неумело, что в любую минуту могло быть короткое замыкание, а там и пожар. «Куда жильцы смотрят?» – невольно в раздражении подумал Жиров. На этой чердачной лестничной площадке была только одна квартира. Жиров утопил кнопку звонка. Открыли не сразу, долго вглядывались в глазок, звенели цепочкой, переспрашивали: «Милиция? А что такое? Почему?» – «Откройте», – просил Жиров. Рядом с ним, все с красными повязками на рукавах, стояли ребята из оперативного отряда, – может, слишком неожиданно все это выглядело для тех, за крохотным глазком? Наконец дверь открылась, но не полностью, а лишь настолько, насколько позволяла длина цепочки.

– В чем дело? Что случилось?

– Простите, вы знаете, что к вашему щитку подключен провод?

– А что сделаешь? Я уж сколько с этим хулиганьем ругалась... «Молчи, говорят, бабка, а то и в ящик сыграть недолго...»

– Вы их знаете? Кто они? – Жиров достал свое удостоверение. – Я из милиции. А это мои помощники...

– Кто их разберет... Одного встречаю иногда в соседнем дворе, а кто он – бог его знает. Облюбовали вот чердак наш, все по вечерам там шастают. А слова им не скажи – сразу грозятся... Уж я сколько жаловалась домоуправу...

– Михаилу Ивановичу?

– Ну да, Ефремову. Говорю: когда же наконец это кончится?

– Мы приехали по сигналу Михаила Ивановича.

– И то слава Богу! Уж и жить здесь боюсь, думаю – ну, когда-нибудь да прикончат старуху.

– Значит, никого из них не знаете?

– Нет, не знаю.

– Ну, спасибо. До свиданья. Живите спокойно – больше они вас беспокоить не будут. – Жиров по опыту знал, что, если чердак «накрывали», туда больше никто не возвращался: искали новые укромные и тихие места.

Дверь закрылась. Жиров с силой выдернул из щита провод. «Черт, проворонили», – сказал он вслух, но так, как будто разговаривал только с самим собой.

Спускались по лестнице хмурые, не разговаривали. Сели в машину.

– Быстро, на танцплощадку! – скомандовал Жиров шоферу.

Машина резко развернулась и теперь уже с ярко зажженными фарами понеслась по городу. Жиров делал вид, что не замечает Татьяну, не помнит о ней. Эх, Жиров, Жиров...

...Домой в этот вечер Татьяна возвращалась поздно. Устала; шла медленно, опустошенная, грустная. Эта грусть наваливалась на нее, когда день был слишком насыщенным, трудным, и всегда хотелось, чтобы кто-то пожалел тебя, приласкал. А дома, знала Татьяна, никто ее не ждал. Анатолия нет, а Андрюшка давно спит. Она остановилась перед домом, взглянула на свое

окно – оно было темным. Свет горел только у Надежды да на кухне. «Наверное, Наташка еще не спит, читает...» А у Надежды скорей всего гости, подумала тут же. Нет, Татьяна не осуждала Надежду, просто иной раз уставала от шума и веселья, а иной раз – удивлялась, как это Надежде самой не надоест такая беспокойная, суматошная жизнь. И вдруг Татьяна почувствовала – неохота идти домой, не хочется подниматься по лестнице, не хочется ощущать сиротливость комнаты, потому что там никогда или почти никогда за последнее время не бывает Анатолия: то он на работе, то в командировке, то у родителей. Конечно, Татьяна не только догадывалась, а знала наверняка – Анатолий стал избегать семью, раньше хоть просто пропадал – на день, на два, а теперь не бывает дома неделями; попробовала Татьяна как-то сказать об этом его родителям, не пожаловалась, просто обмолвилась – вышло еще хуже: рассвирепел не только Анатолий, но рассердились и родители. Впрочем, удивительного тут ничего нет – они всегда покрывали сына, что бы он ни делал, – история эта тянулась с давних пор, с самой свадьбы, пожалуй. Особенно агрессивна временами бывала мать Анатолия, Эльвира Аркадьевна, а свекор в семейные дела почти не вникал.

Отец Анатолия – Ефим Ефимович Мельников – главный инженер строительного треста, человек занятой, когда-то сделал для Татьяны доброе дело, но она оказалась неблагодарной. Сразу после свадьбы он пристроил семнадцатилетнюю Татьяну в секретарши к своему закадычному другу, директору ткацкой фабрики Трофимчику: и делать особенно ничего не надо, и зарплата идет, и Трофимчик – начальник, каких еще поискать надо, всегда ровный, спокойный, вежливый. Проработала Татьяна у него меньше года – ушла сначала в декрет, а потом и вовсе не вернулась: не по душе показалось современное холопство. Объяснить же причину своего ухода не могла, особенно не решалась сказать правду Ефиму Ефимовичу – и с тех пор он как бы перестал ее замечать. Кем она работает, как живет, что у них делается в семье, ему было безразлично: один раз он помог – ему оплатили неблагодарностью, – о чем еще может быть разговор?

Другими словами, со стороны родителей Анатолия понимания особенного не было, наоборот – даже некоторая враждебность, и вилась эта веревочка ой из какого еще дальнего далека...

Татьяна вздохнула (сколько можно стоять под окнами собственного дома?) и медленно направилась к подъезду. Открыла дверь, и тут в темноте, как будто клещами, ее с двух сторон схватили за руки...

– Тише, тетя. Спокойно...

«Господи...» – пронеслось в ней, а голос, почувствовала она, пропал вовсе – даже и захотела бы крикнуть, не смогла: сердце летело в пропасть.

– Сумочку. Так. Карманчики. Быстрей...

Сзади, ощутила Татьяна, под левую лопатку, приставили нож.

– Туфли скидывай... ну, живей!

Татьяна сбросила туфли – поспешно, даже как будто с отвращением.

Неожиданно руки отпустили. Чувствовала только холодное дыхание ножа за спиной.

– Плащ скидывай. Ну! Кольцо есть? Снимай кольцо... Серьги?

Татьяна сняла плащ; с трудом стащила с пальца кольцо; отдала серьги.

– Долго еще с мильтонами будешь якшаться?

– Что? – не поняла Татьяна; голос оказался хриплый, осевший, звучал тихо.

– Смотри, по чердакам лазить опасно... шею надрежешь...

И тут ее пронзило: это же те, с чердака... И голоса... как она сразу не сообразила: голоса подростков... Татьяну окатило настоящим страхом, пронизывающим, ледяным – так и показывалась по коже волна мурашек. Она знала, в этом возрасте совершаются самые безрассудные преступления, самые жестокие, потому что ни ума, ни осознания тяжести своих действий им не

хватает. Все притуплено чувством ложного коллективизма, бравады, циничным хвастовством друг перед другом...

– А чтобы ты лучше поняла... Ну-ка, скидывай... – Нож больно ткнулся под лопатку.

– Что? Что вы? Зачем? – забормотала Татьяна.

– Скидывай, тебе говорят! Ну!

– Да вы что, ребята? – насмерть перепугалась Татьяна. – Я же вас знаю... Вы же... Вас потом...

Где-то наверху громко хлопнули дверью; в подъезде застыла могильная тишина.

– Надо сматываться, – прошептал благоразумный голос.

– Тихо!

И снова – мертвая тишина; только и слышно – прерывистое дыхание Татьяны.

– Про нас скажешь – попробуешь вот это. – Нож больно впился в тело. – Все поняла?

– Поняла, – кивнула Татьяна.

– И по чердакам кончай с мильтонами лазить. Если, конечно, не хочешь...

Чем дальше хотели пригрозить, Татьяна так и не узнала. Кто-то крикнул:

– Сматываемся, ребята! – И все они, как тени, четыре человека, нырнули в щель приоткрытой двери. Были – не были.

Секунду-две Татьяна стояла как в столбняке. Если бы не босые, в одних чулках, ноги, не снятые серьги, кольцо, плащ, она бы, наверное, сама не поверила во все то, что только что случилось. Как, обокрали в своем доме, прямо в подъезде?! Приставляли нож?! Заставляли раздеваться?! Да что же это такое, откуда, почему?! Она была так потрясена случившимся, что не могла даже заплакать – слезы не шли на глаза, а ведь как, наверное, хорошо было бы сейчас разрыдаться, поплакать всласть, от души...

Пошатываясь от слабости и нервного удара, держась за перила рукой, Татьяна пошла потихоньку по лестнице вверх. Шла, как старуха, с остановками, отдыхая на лестничных площадках; шла, так и не плакала, чувствуя себя почти умалишенной от навалившегося ощущения внутренней обреченности. Обреченности – почему обреченности? Сама не знала, не понимала. Ей было страшно. Нет, не потому, что приставляли нож, не потому, что ограбили, что угрожали; страшно от одиночества, от мысли, насколько она сейчас заброшена и забыта всеми; почему-то думалось, что если бы Анатолий так часто не бросал ее, если бы он всегда был дома, ждал ее, любил, жалел, то никогда бы не могло случиться такого! Никогда! А почему она так думала, этого сама не знала, чувствовала только, что мысль ее верная, справедливая, выстраданная.

На третьем этаже ноги Татьяны не выдержали, будто подкосились, такая в них была слабость и дрожь; она опустилась прямо на цементный пол, сидела неуклюже, больно подогнув ногу, но не обращала на это внимания, смотрела через перила в неведомую точку... И истошно кричала в ней в эти секунды душа, как только и выдерживала, не разрывалась на части! Никогда раньше, сколько бы обид и горя ни приносил ей Анатолий, не испытывала она к нему того, что так захлестнуло ее душу сейчас, а именно – ненависть к нему! Впервые в жизни узнала Татьяна это чувство, неведомое раньше, никогда не отравляющее еще ее сердце, – ненавидела мужа остро, брезгливо, ненавидела и мыслью, и чувством, всем существом своим, от кончиков пальцев до макушки головы. Сколько она обманывала себя, обманутая им, – приказывала себе верить в его ложь, как в правду, лишь бы сохранить видимость пусть и не вполне счастливой, но достаточно пристойной и прочной семьи, страх за себя, за Андрюшку всегда толкал ее к тому, чтобы смиренно, будто в сомнамбулическом состоянии, переносить его ложь, украшая и разряжая ее, как елку игрушками, всяческими оправданиями и иллюзиями; он лгал и чувствовал себя, казалось, нормально, в мире с самим собой, во всяком случае Татьяна никогда не замечала в нем раскаяния и угрызений совести; да, он лгал, а она – именно она – чувствовала стыд и вину за его ложь, будто это не он, а она совершала гадкое, низкое и подлое, – и,

наверное, догадывалась она теперь, так оно и было в действительности, потому что не в его лжи пряталась загадка и отгадка их жизни, а в Татьянинном потворстве лицемерию, предательству и обману. Как она ненавидела его сейчас, потому что прежде всего ненавидела теперь себя! Разве не знала, не знает и не догадывается она, например, что Анатолий ни в какой не командировке, хотя и прислал телеграмму (обнаглел до того, что даже такой способ считает вполне подходящим), а что просто живет все эти дни у какой-нибудь очередной «любви», а когда она ему надоест, или просто пресытятся оба, или, на худой конец, вдруг соскучится по Андрюшке, или, что тоже бывает, захочется домашнего покоя, чистоты и уюта – полежать на диване, почитать газету, поесть вкусных Татьянинных шей, замкнуться в себе, отдохнуть, как говорится, душой и телом от собственной раздвоенной, наверняка изнуряющей, иссушающей сердце жизни, – вот тогда он вернется, позвонит в дверь, бесстыдно бесстрашными праведными глазами посмотрит на Татьяну, улыбнется, даже, может быть, пошутит, потом подхватит на руки Андрюшку и так далее, и так далее... С ума сойти можно от этой лжи и игры, а ведь Татьяна не сходила с ума, терпела, да что терпела – все забывала, прощала, искренне радовалась, потому что вернулся... Вернулся – вот что главное, вот счастье для семьи!

А теперь ей открылось: есть какая-то внутренняя, глубокая связь между тем, что ее только что ограбили, раздели, и тем, что в доме, в семье никогда нет хозяина, защитника, что вместо правды в их отношениях – ложь и лицемерие, что она, Татьяна, сейчас здесь, на лестнице, а он, Анатолий, где-нибудь с другой женщиной, может быть, даже в постели...

Но почему все это? За что? И отчего именно ей, Татьяне, досталась такая доля?

Ответить на все это было невозможно. Вся жизнь ее и есть ответ на это. Вся жизнь...

Татьяна с трудом встала и подошла к двери. Ключи остались в сумочке, сумку забрали; Татьяна нажала на звонок.

Открыла Надежда: хитрая многообещающая улыбка так и плавала на ее лице. Увидев Татьяну, Надежда вдруг поднесла ладошку ко рту и приснула.

– Смешно, да? – невесело покачала головой Татьяна. – Ох как смешно... прямо умереть можно.

– Танька, ты что... ты что, набралась? С кем-то ты пьешь, а со мной... Ой, умора, Танька напилась! – Надежда смеялась, но глаза ее сияли восхищением – так ей нравился сейчас Танькин вид.

Вяло махнув рукой, Татьяна перешагнула порог, но дальше идти сил не было: плюхнулась на стул в коридоре. Закрыла глаза.

Скрипнула кухонная дверь, в коридор выглянула Наталья.

– Ой, Тань, ты чего это? Что с тобой?

Татьяна открыла глаза. Взглянула на Наталью, которая показалась сейчас будто уменьшенной, далекой, как в тумане.

– Напилась, – ответила Татьяна.

– Ну, брось! – не поверила Наталья. – А туфли где? Плащ?

– А, пропила, – сказала Татьяна и снова закрыла глаза, запрокинув голову на спинку стула. – Андрюшка спит? – спросила у Натальи.

– Спит.

– Ой, номер! – улыбнулась Надежда. – Танька напилась! Да ты что одна-то? Пришла б домой, вместе бы и выпили...

– Тань, не ври! – строго, отчужденно и задумчиво проговорила Наталья. – Ну чего ты врешь? Я же вижу – ты трезвая.

Татьяна опять открыла глаза. Она любила Наталью, но почему-то сейчас хотелось, чтобы Наталья поверила, что она пьяная.

– Пойдем, пойдем, – потянула ее за собой Надежда в свою комнату. – Эх, Танька, Танька, давно бы так, а то смотри-ка... туфли потеряла, плащ потеряла... А сумка? Где твоя сумка? –

Татьяна неопределенно пожала плечами, и Надежда расхохоталась еще веселей: – И сумку потеряла? Ох, Танька, Танька, ну, загуляла, девка, ну даешь... А правильно! Все правильно. Пропали она к чертям собачьим, наша гордость, наша жадность! Тьфу!..

Наталья смотрела им вслед, ничего не понимая.

В комнате у Надежды ревели музыка, на столе, как всегда, окурки, недоеденные закуски, пятна на скатерти. Но гостей не было: видно, ушли уже или просто разогнала всех Наталья.

Татьяна села в кресло; какое мягкое, уютное кресло, подумала неожиданно, радуясь этой мысли, словно была блаженной, что ли. Она как бы не могла сейчас думать ни о чем серьезном и глубоком, только о чем-то таком, что рядом, на поверхности, что не просится ни в раздумья, ни в печаль.

Она знала, вот она сидит, смотрит, слушает, но ничего не воспринимала, а тело ее будто растворялось в желанном покое, слабости и умиротворении.

– Ты не поверишь, – слышала она и не слышала голос Надежды, – я сказала им – ухожу, все, надоело в вашей дыре жизнь гробить, она у меня одна-разъединственная, как все всполошились!.. А я им еще главного не сказала – что в кино ухожу, пускай не в артистки, это меня не волнует, главное – там жизнь, что-то настоящее, даже Феликсу забыла сказать, а уж он бы удивился... не поверил бы, что ты!.. Представляешь?!

Надежда заглянула Татьяне в самые глаза, потому что Татьяна никак не реагировала на ее слова. Теперь-то Татьяна сообразила – Надежда обращается к ней – и кивнула.

А потом опять она сидела, слушала, кивала, ничего не понимая, не вникая в смысл слов, думала: вот как это бывает... ничего не пойму...

– Но я забуду его, забуду, – продолжала Надежда, – просто гордыню свою бабскую не могу сломить, ну что он мне, мой проклятый Феликс? Еще неизвестно, какая я стану, и не в кино дело, кино – тьфу, просто жизнь будет другая, осмысленная, он еще поймет, пожалеет, от кого он ушел, еще в ноги мне будет кланяться...

– Передай мне телефон, – попросила Татьяна; она сидела так хорошо, так уютно в кресле, не хотелось ни двигаться, ни шевелиться.

– Телефон? – осеклась Надежда на полуслове. Осеклась, удивилась. – На, конечно, пожалуйста... – И протянула аппарат.

Татьяна медленно, завороченно улыбаясь так, будто хочет вот-вот заплакать, набрала номер.

– Жиров? Это я, Татьяна. Мельникова.

Он что-то там ответил (Надежда смотрела на Татьяну во все глаза: Жиров? Какой еще Жиров? Вот так да-а...), Татьяна не слушала его.

– Жиров, – продолжала она, – меня ограбили.

Опять что-то там рокотало в трубке, а Татьяна говорила свое:

– Меня ограбили, Жиров. У меня забрали все-все. Туфли, плащ, сумку, серьги, кольцо. Меня ограбили, Жиров. Ты это понимаешь? Я не пьяная, нет... Я не хочу спать. Я хочу плакать, понимаешь, Жиров?

Он что-то спрашивал, даже как будто сердился, а она, готовая в любую секунду расплакаться, все повторяла:

– Жиров, меня ограбили. Вот что со мной сделали, Жиров... Меня ограбили... оскорбили...

IV. Даниловы

В школу Наталья не пошла. Все было как всегда: позавтракала, собрала учебники, тетради, выбежала на улицу... и что-то как будто перевернулось в ней. Осень; летят листья; из-за домов малиновым полукругом подымается солнце; шуршат по асфальту шины машин... Беспричинная тоска, которая все чаще и чаще стала случаться с Натальей, вновь охватила ее, навалилась не тяжело, а смутно, тревожаще... Почувствовалось: хочется сделать что-нибудь такое, чтобы разом изменить всю жизнь, должна же она наконец стать понятней, чище, лучше, и в то же время, знала Наталья, ничего такого сделать она не могла, оттого и тоска наваливалась, брала за сердце грусть... Как ей противно и стыдно было иной раз сидеть в школе и делать вид, что слушает о какой-нибудь физике, химии, а думать совсем о другом – о жизни, которую невозможно понять, хотя с виду она такая простая, близкая, но совсем непонятная и далеко не хорошая. И не мысли, а мечты взывали к другой жизни, понятной, сердечной, не запутанной, полной взаимной любви или хотя бы уважения, да – не мысли, а мечты. Потому что мысли оставались трезвые и холодные, несмотря на ее возраст, несмотря на то, что она девочка, – эти мысли отравляли ей жизнь, а мечты хотели примирить и примиряли с жизнью или, во всяком случае, возвышались над ней. Скорей всего, глупым, а еще точнее – неопытным было только ее сердце, а мысли, хоть ни один взрослый, наверно, не поверил бы в это, были глубокие и зрелые, стремились к тому, чтобы быть таковыми, и от этого странного сочетания – неопытного сердца и самостоятельных серьезных размышлений – шла вся ее мука, боль, стыд и растерянность. Пожалуй, больше всего было последнего – стыда и растерянности, самое главное – растерянности.

Растерянность – вот что такое ее нынешняя жизнь.

Наталья подошла к телефонной будке, повесила портфель на настенный крючок; постояла, подумала, решаясь и не решаясь позвонить. Наконец набрала нужный номер.

– Да, – ответил отец. Наталья молчала. – Да! Данилов слушает! – В голосе отца зазвучали нотки нетерпения и неудовольствия – отрывают от работы.

– Папа, это я. Здравствуй.

– А, Мышонок, это ты? Здравствуй! – Как сразу изменился у него голос – стал такой мягкий и нежный. Наталья знала: отец искренен, знала всегда, что он любит ее, любит, может быть, больше Светланы, больше Ванюшки и, уж конечно, больше Надежды.

– Папа... я хочу увидеть тебя... – медленно, очень медленно проговорила Наталья.

– Что-нибудь случилось?

– Нет. Мне просто нужно поговорить с тобой. – И после некоторой паузы: – Я соскучилась по тебе, папа.

– Где ты? Разве ты не в школе?

– Я не пошла в школу!

– Ну, это, конечно, не совсем хорошо... Впрочем, ладно. Ты можешь ко мне приехать в лабораторию?

– Прямо сейчас? Да, конечно. Могу. Я сейчас. Сейчас приеду... – торопливо, глотая слова, обрадованно заговорила Наталья.

– Ну вот и молодец, Мышонок. Жду. – Но трубку не положил, ждал, не скажет ли она еще что-нибудь. – Эй, Мышонок, ты слышишь меня? – Он с детства называл ее так – сначала Наташонок-Мышонок, потом просто – Мышонок.

– Папа, ты меня любишь? – спросила она и еле-еле сдержала себя, чтобы не расплакаться.

– Ну что ты, глупышка. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Что случилось?

– Я сейчас приеду... – прошептала она и повесила трубку.

Но почему-то сразу не поехала; больше того – после разговора, как только вышла из будки, решила: нет, не поеду совсем; и только позже одумалась... Но это – позже, а пока стала опять бесцельно бродить по улицам, сидела на лавках, пробовала построить на портфеле домик из кленовых листьев, все разрушалось, дул ветер, проходили мимо веселые возбужденные люди: молодые ребята (и даже молодые мужчины) пытались заговорить с ней, бросали шуточные реплики – в надежде, что она пошлет им, как шарик за теннисным столом, ответную шутку, она все видела, слышала, понимала, но в глазах ее не было ответа ни на одну шутку, ни на одно заигрывание; потом она опять ходила по улицам и неожиданно вышла к кинотеатру, встала рядом с афишей, смотрела на крупные, тяжелые, шершавые, как бы осмысленные буквы и не могла взять в толк, что тут написано, отошла подальше – «СТАЛКЕР» – вот, оказывается, что... Говорили – такой необыкновенный фильм; может, пойти? Вспомнила: СТАЛКЕР – это смертник, кажется; купила билет, подошла к контролеру и вдруг подумала: зачем в кино? ведь не хочу; ничего не хочу; отошла прочь, задумалась, стояла, стояла, выбросила билет, сначала разорвала его на мелкие кусочки, потом выбросила в урну; не хотела смотреть про смертника, вообще ничего не хотела видеть на экране – там все придумано, и всегда это заметно, видно – то фальшь жизни, то фальшь актерской игры, и совсем невыносима глупая фальшивая солидарность зрителей в чувствах и мыслях, хотя эта солидарность рассыпается в прах, как только вспыхивает свет и каждый уходит в свою реальную жизнь – в свою непростую, запутанную и бесприсветную круговорот.

Наталья поняла – больше так не может; хочет видеть отца; поговорить, успокоиться, утешиться... Господи, как она любит его! Просто жить без него не может, а он...

От проходной она позвонила отцу по внутреннему телефону.

– Где ты пропадала? – встревоженно спросил он. – *Я уж* стал беспокоиться... Два часа прошло.

– Разве? Извини, папа...

– Я сейчас спущусь.

– Хорошо. Я здесь, папа. Не беспокойся. Я жду.

Минут через пять появился, показал вахтеру удостоверение, провел за собой Наталью. Вахтер давно знал ее, но всякий раз смотрел настороженно, с явной подозрительностью. Такая уж у него была работа.

Сначала они шли по экспериментальным цехам, где все двигалось, шумело, грохотало, звенело, стучало. Наталью всегда охватывал здесь почти мистический страх; так и казалось, что что-нибудь сейчас сорвется на голову или наедет какая-нибудь тележка. Это был завод подъемно-транспортного оборудования, и здесь, в экспериментальных цехах, испытывалось и проверялось то, что поначалу разрабатывалось в лаборатории отца. И только после сотен испытаний какая-нибудь новая лебедка или – того замысловатей – кран-балка шли на конвейер, внедрялись в основное производство. Наталья никогда не любила технику, не понимала и даже боялась ее, но, может быть, именно поэтому боготворила отца – он был настоящий мужчина, увлеченный своей работой до страсти, и не просто там теоретик, а практик, экспериментатор: после института пришел на завод простым инженером, увлекся изобретениями и усовершенствованиями, попал в экспериментальный цех, потом в лабораторию, защитил кандидатскую диссертацию (кандидат технических наук) и вот уже шесть лет руководил лабораторией. И пока Наталья не побывала на заводе, не увидела отца на работе – впервые это произошло года три-четыре назад, она воспринимала отца как-то совершенно по-другому: всегда он был для нее только домашний, добрый, мягкий, умный, ироничный, смешливый, а тут вдруг она узнала, насколько он может быть жестким, властным, нетерпимым, но все это не самое главное – она увидела, что он, оказывается, такой увлекающийся, такой неистовый в работе, – с тех пор, наверное, и изменилось что-то во взрослеющей душе Натальи: она теперь не просто любила

отца, она уважала его – он был человек слова и дела, ума и сердца, а как этого не хватает в жизни (уже тогда Наталья задумывалась над этим)...

Прошли цеха; прошли отделы лаборатории; только собрались заходить в кабинет отца – сбоку вынырнул Сережа Марчик. Марчику отец прощал все – молодой, почти мальчишка, этот парень с руками токаря-виртуоза и головой академика мог выточить любую деталь, но при одном условии: исполнение не слепое, а творческое, возможны, так сказать, коррективы творца Марчика. Отец, улыбаясь, всегда соглашался с ним. Еще одна слабость Марчика – когда видел Наталью в лаборатории, кричал: «Не проходите мимо!» – и без всякого зазрения совести набивался в женихи.

– Феликс Иванович! – закричал Сережа Марчик и на этот раз. – Не проходите мимо! Ах, Наталочка, здравствуй, детка! Ну как, подросла? Я жду, Феликс Иванович, я очень жду! Как только стукнет дочке восемнадцать – сразу сватаюсь. Берете в зятя? Только не режьте хорошего человека ножом, прошу вас...

– Посмотрим, Сережа, посмотрим... – весело отвечал отец. – Вот как подрастет наша невеста, мы у нее сами спросим. Верно, дочка? – Слава Богу, при чужих он никогда не называл ее Мышонок.

Обычно не очень смущающаяся и умеющая дать отпор, если надо, перед Сережей Наталья несколько терялась, даже краснела. Он уязвлял ее своей открытостью и бесшабашностью, нагловатой откровенностью, которая не поймешь: откровенность или, может, просто насмешка? А как тревожна и оскорбительна насмешка для девочки Наталиного возраста...

– А если без шуток, Феликс Иванович, эту шайбу пусть Иванушка-дурачок точит. А я пока Сережа Марчик...

– В чем дело, Сережа Марчик? – в тон ему – то ли шутя, то ли серьезно – спросил отец. И они склонились над чертежом, забыв про Наталью; потом отец опомнился, сказал:

– Ты иди в кабинет, подожди немного, я сейчас...

Пришел он не скоро.

– Извини, – сказал, – работа... Ну, так что такое случилось у тебя?

– Да так, ничего... – Почему-то она стеснялась смотреть отцу в глаза, отводила взгляд в сторону. И вообще – что-то произошло с Натальей за эти минуты, охота откровенничать с отцом как будто пропала совсем.

– Обиделась? – догадался он. – Знаешь, Мышонок, очень странно устроена наша жизнь... Сколько на свете недоразумений только потому, что люди обижаются друг на друга, а обиду свою прячут глубоко внутри... – Он подошел к двери, закрыл на ключ: – Чтобы нам не мешали, – и, потирая руки, сел в кресло; Наталью посадил рядом. – Ну что, обиделась?

– Я не обижаюсь... Я просто так...

– Какие-нибудь нелады с мамой?

– Не в этом дело. Я сама не знаю...

– Тоска?

Она подумала-подумала, что ответить, наконец вздохнула:

– Тоска, папа... Так мне плохо почему-то...

Отец обнял ее, нежно похлопал по плечу:

– Ах, Мышонок ты, Мышонок, вот ты и взрослая уже... Как быстро, незаметно... Хочешь, признаюсь тебе? В твоём возрасте на меня находила такая хандра – хоть в петлю лезь. (Это «хоть в петлю лезь» надолго застряло в сознании Натальи.) И, как видишь, ничего, все прошло – даже не верится, что это было со мной. Тоска – это несоответствие идеала и реальности. Человек преодолевает несоответствие, и хандра исчезает сама собой.

– Тебе хорошо, ты взрослый, умный, ты все-все понимаешь... А я? Я родилась у вас какая-то не такая, меня все время грызет неудовлетворение... Я злюсь на себя, на тебя, на маму... И ничего не могу поделать с собой. Я даже школу возненавидела, не могу больше

учиться, не могу слышать голоса учителей... Все опротивело. Все кажется ложью, болтовней, обманом...

– Если бы ты знала, как это мне знакомо! – искренне признался Феликс. – И теперь, когда я взрослый, когда многое понял в жизни, я не сомневаюсь – каждому человеку надо обязательно пройти через эти сомнения. Кто через них не проходит – из того вообще ничего путного не получается.

– Ты серьезно? Нет, ты шутишь... ты просто хочешь успокоить меня...

– Серьезно, Мышонок. О таких вещах нужно говорить только всерьез.

Наталья смотрела на него недоверчивым, внимательным, изучающим взглядом.

– Не веришь? – улыбнулся он.

– Не знаю... Как я могу не верить тебе?

– Вот и умница. – Он поцеловал ее в щеку; как ей была приятна его ласка, его нежный поцелуй: она всегда скучала по отцу (но не всегда показывала, даже не всегда признавалась в этом сама себе), а в последние дни скучала по нему особенно.

– Знаешь, мне все время хочется понять ваши отношения с мамой...

Он взглянул на нее настороженно, быстро, цепко.

– О, Мышонок, – он решил отшутиться, это было видно, – даже боги Олимпа, если бы задумали понять нас, только зря расплескали бы свое божественное время.

– Почему вы всегда – и ты, и мама – отделяетесь от меня то шутками, то приказаниями не совать нос в чужие дела, то еще какой-нибудь тарабарщиной?.. Ведь я ваша дочь! Мне больно...

Феликс несколько смутился; не знал, какую тональность выбрать для дальнейшего разговора; он еще не почувствовал, насколько важна сегодня его искренность для Натальи.

– Понимаешь, ты взрослая, конечно... – медленно проговорил Феликс, нащупывая тропу в дальнейшем разговоре, – но в то же время еще не совсем взрослая... Тебе трудно понять некоторые вещи. Трудно, а может быть, даже невозможно...

– Почему? Человек всегда может понять человека.

Феликс удивленно вскинул на нее глаза.

– Я знаю, ты ушел от нас потому, что мама измучила тебя.

«Она и вправду, – подумал он пораженно, – повзрослела за последнее время...»

– Но ведь многие люди мучают друг друга, – продолжала Наталья, – разве из этого следует, что нужно бросать семью? Ты ушел не только от мамы. Ты ушел от меня. А я так не могу. Не могу. Обо мне никто из вас не подумал... Вы просто эгоисты оба.

«Повзрослела... Да как сильно... Когда? Просмотрел, проморгал...» – думал он, все больше и больше поражаясь ее словам.

– Наташа, – сказал он, – ты стала понимать такие вещи... Я не думал... У меня сложное чувство: либо мы должны говорить действительно серьезно (но это трудно, больно!), либо не говорить совсем.

– Я больше не могу жить одна, только со своими мыслями! Я хочу понять: кто вы, мои родители, – враги мне или друзья? Ты знаешь, я люблю тебя, но, кажется, не только люблю – я начинаю ненавидеть вас! Я не могу жить с этими страшными чувствами – любить и ненавидеть. Помогите мне!

Он вконец растерялся; его Мышонок, малышка, девочка-несмышлениш – и вдруг такие мысли, такие слова.... Откуда? Когда накопилось, когда созрело? Он ничего не понимал...

– Ты не права в одном: я никогда не уходил от тебя. Быть вместе – это не значит быть только рядом. Я тоже мучаюсь, мне нелегко, но я думал – ты взрослая, ты понимаешь эти вещи. Я ушел, но мы всегда можем видеться с тобой. Ты можешь приходить к нам, больше того – можешь жить у нас, тебя все любят, никто никогда не обидит. Впрочем, ты сама это знаешь...

– Ничего я не знаю!

– Как? Ты шутишь?

– Да, я знаю, конечно. Но ты понимаешь – я не хочу этого знать! Не хочу! Почему я должна приходить к вам, приспосабливаться к твоим родственникам: я – к ним, а не они – ко мне?! Я что, прокаженная? Или это я виновата, что ты не живешь с нами, бросил меня?! Вы что-то делаете, а мне – вся боль... Но за что?

Он понял – нужно как-то по-другому строить разговор; он старше, опытней, должен взять в руки словесную нить, всегда такую опасную, когда она тянется безнадзорно...

– погоди, Мышонок. Давай говорить спокойно. По порядку...

– Папа, ради бога, не называй меня Мышонком! Ну какой я тебе Мышонок?!

«Вот так да-а...» – в который раз за сегодня удивился он.

– Но ведь тебе всегда нравилось, когда я...

– А сегодня не нравится! Ты не заметил – я выросла, я взрослая? Если тебе так хочется, можешь называть меня Мышью. Даже Крысой. Пожалуйста. Только не Мышонком.

«Нет, она еще ребенок. Слава Богу... А то уж я совсем перепугался. Обижается на такие вещи...» – На сердце у него, кажется, немного отлегло.

– Хорошо. Буду называть тебя просто – Наташа. Договорились?

– Да. – Но не выдержала сурового тона, добавила: – Только не обижайся, папа. Я не хотела тебя обидеть.

– Ну что ты... – улыбнулся он. – Знаешь, действительно, давай поговорим дружески, спокойно. Я попробую – даю тебе слово! – объяснить тебе наши отношения с мамой. Хотя, знаешь ли, те, кто ссорится, не всегда осознают даже сами, из-за чего, почему ссорятся...

– И ты?

– Что – я?

– И ты не осознаешь?

– Нет, я, по-моему, осознаю. Но... может, мне это только кажется?.. Впрочем, хорошо, давай начнем по порядку... Но с чего начать? – Он всерьез, надолго задумался, перебирая в уме разные годы совместной жизни; однако – перебирай не перебирай – именно рождение Наташи и было пробным камнем прочности их семьи. – Все началось с того, что Надежда стала ревновать меня к Светлане, к матери... постепенно это превратилось в настоящую пытку. Муку. И для меня, и для нее...

– Я тоже ревную тебя к Светлане. К бабушке. К Ванюшке.

– Разве? Что-то не замечал.

– Просто я скрытная. Для меня это мучительно – что у тебя есть еще одна семья, которую ты любишь больше нас.

– Это не так.

– Пусть. Но так мне кажется. Наверное, и маме всегда казалось то же самое.

– Я тебе скажу одно: в своей любви человек не должен быть безмерно эгоистичен. Как бы ни сложилась твоя судьба в дальнейшем, я хотел бы пожелать тебе одного: люби людей так, чтобы они чувствовали себя свободными, а не закабаленными. Нельзя любить человека как вещь, нельзя владеть им, превращать в раба своих капризов и настроений, даже в раба чувств, которые кажутся тебе высокими и искренними. Любовь – это не стремление пристегнуть любимого к ошейнику ремешку, любовь – это жертвование...

– Ты же не пожертвовал собой ради мамы? – обронила Наталья.

– Ради бога, Наташа, постарайся понять меня, не передергивай мои мысли. Я говорю сейчас, и одновременно думаю, и одновременно даже для самого себя уясняю какие-то важные вещи... Выслушай меня. Просто выслушай...

– Извини, папа...

– Ты пойми: любовь – не жертва собой, не жертва одного человека ради другого, а дарение себя любимому. Ты вдумайся! Здесь совершенно иной смысл, может – даже совсем про-

тивоположный. Мама любила тебя и меня, но самая тайная, изнуряющая ее и не сознаваемая до конца мечта мамы была не та, чтобы я любил вас (я всегда любил вас!), а чтобы не любил других, не любил Светлану, мать, даже Ванюшку. А я не мог и не могу не любить их, – и начались ссоры, которые поначалу, казалось бы, выглядели вполне оправданными, а потому исправимыми. Любовь – упаси боже, чтобы она была жадностью одного человека на другого, эта жадность съедает не только любимого, но и любящего, она разъедает все, оставляя после себя развалины и труху. Что и случилось с Надеждой...

– А с тобой? Выходит, ты не любил, раз с тобой ничего не случилось?

– Как не случилось? – И, взглянув на дочь, отчетливо подумал: «Нет, это невозможно все объяснить... Слова не помогают, не проясняют смысла, а только утяжеляют, запутывают его...» – Как не случилось?! – повторил он. – Ты же видишь – все развалилось в конце концов...

– Потому что ты разлюбил? Ты разлюбил нас?

– Пойми: я сделал все, чтобы наша семья не распалась. Надежда захотела жить отдельно от моих, в своей комнате, где жила до замужества (мы берегли эту комнату, думая, что когда-нибудь она понадобится тебе... когда ты вырастешь). Хорошо, я согласился. Мы втроем – ты, я и Надежда – перебрались в эту комнату. Разве я роптал? Разве я был против? Хотя жить в коммунальной квартире, с соседями, – это не совсем одно и то же, что жить в отдельной квартире. Слава Богу, соседи нормальные, а таким, как Татьяна, я бы при жизни памятники ставил... Стали жить отдельно от моих, но разве стали жить лучше?

– Возможно, не стоит говорить, но мама стала...

– Я знаю. Я ей говорил. Это черт знает что...

– А вчера они весь вечер просидели с Татьяной.

– Наверное, у Тани что-нибудь случилось?

– Вчера она была просто не в себе... Бог знает какую околесицу несла...

– А Анатолий где?

– Вроде в командировке.

– Вот тоже еще фрукт... Надо же: никогда природе не хватает равновесия и справедливости. Во всякую гармонию подбросит свой испытующий камешек. А ведь у Татьяны есть одно необыкновенное, редкое по нашим временам качество – она настоящая мать. Странное дело: когда я оглядываюсь вокруг, я вижу, что женщины в наше время живут с ощущением, будто жизнь проходит мимо них. Они потеряли способность чувствовать счастье в детях. Это даже не драма, это трагедия современной женщины. Что-то похожее произошло и с нашей мамой. Все ее счастье – в тебе, а она не понимает этого.

– А твое в чем счастье?

– Мое? – Феликс осекся, задумался. – Счастье любого человека – в согласии с самим собой. Вот к этому я и стремлюсь.

Наталья смотрела на отца во все глаза, и чем умней, отчетливей были его слова, тем тоскливей и тяжелей становилось у нее на душе. Почему умные, даже прекрасные мысли не помогают жить человеку? Почему поначалу они как бы удивляют нас, открывают глаза, вызывают радостное внутреннее удивление: вот оно что, оказывается... А потом жизнь продолжается сама по себе, а мысли о жизни остаются сами по себе – нет никакого синтеза, сплава нет, единства. Или это тоже истина мира: жизнь и мысль о ней – вечные враги?

– Знаешь, папа, – сказала Наталья, – я ничего не понимаю. Ничего не хочу. Хочу только одного – ради бога, не обижайся, – чтобы ты вернулся к нам. Больше ничего. Понимаешь, мне больше ничего не надо – только чтобы ты был всегда рядом. Иначе все у меня валится из рук. Наверное, я дура какая-то... У скольких девчонок и ребят из нашего класса родители не живут вместе, а я так не могу... Даже умереть иной раз хочется, такая тоска, папа! Если бы ты знал, какая тоска!

– Я понимаю, – сказал он; Феликс сидел, не глядя на дочь, опустив голову: ему было неловко, стыдно.

– Вернись к нам, папа. Знаешь, мы бы очень хорошо зажили теперь.

– Я не могу, – сказал он. – Даже если бы сильно захотел.

– Почему?

– Потому что... – Он не знал, как сказать об этом. Он понимал, что, какой бы взрослой и умной ни казалась сейчас дочь, все равно это только одна видимость; чтобы понимать какие-то вещи, нужно не просто повзрослеть или поумнеть, нужно, чтобы душа прошла определенные круги ада и рая, для понимания нужна душа, а вовсе не ум, а душа зреет и матерееет в человеке гораздо более сложными путями, чем ум. Ум – крест человека, душа – стропила в небо.

– Ну почему? – в нетерпении переспросила его дочь.

– Честно говоря, мне не хочется говорить. И врать не хочется. Поймешь ли ты, сможешь ли?

– Я все пойму, – самонадеянно подтолкнула его к признанию Наталья.

– Я не могу вернуться, – медленно, как бы проверяя каждое слово на слух, заговорил он, – потому что я... люблю... другую женщину.

– Какую женщину? – легко еще, не понимая ничего, произнесла Наталья. – Ты о чем?

– Ты спросила – и я ответил. Я не могу вернуться. Поздно... Я полюбил другую женщину. – Странное дело, голос его звучал резко, даже зло.

– Но как же... – растерянно прошептала Наталья. – Ты любил первую жену. Потом маму. Теперь кого-то еще... Сколько можно любить? Ты обманываешь меня! Разве можно так много любить?

– Вот это-то и есть то, что тебе трудно понять. Я предупреждал тебя.

– Нет, я понимаю, понимаю... – быстро, как бы опомнившись, заговорила Наталья. – Только одного не пойму: ты обманываешь меня, да? Правильно я поняла?

– Правильно, – махнул Феликс рукой.

Наталья внимательно смотрела на отца, стараясь чуть ли не пронзить его взглядом, добраться до сути его душевного состояния.

– Нет, ты сказал правду, – неожиданно произнесла она. – Я теперь вижу. Когда человек любит, он становится холодным и равнодушным.

– Как это? – удивился Феликс.

– Холодным и равнодушным к тем, кого любил прежде.

– Ну, это еще как сказать, – не согласился он. Не хотел согласиться. – Любовь к одному человеку не исключает любви к другим. Я думаю, это аксиома.

– Папа, ну я пойду? – неожиданно сказала Наталья.

– Как, вот так сразу? – Кажется, он даже обиделся немного.

– Хоть на последние два урока успею. Ты забыл, я ведь еще в школе учусь. – Она говорила это спокойно, ровно, даже несколько снисходительным тоном: надо же, такой взрослый человек, а не понимает простых вещей... Но в душе – в душе все у нее кричало и мучилось! Просто Наталье хотелось как можно скорее остаться одной, подумать, осознать все то, о чем рассказал отец.

– Кстати, о школе... У меня к тебе просьба, Наташа: не огорчай маму, учись хорошо. Она мне сказала по секрету, в последнее время ты забросила учебу.

– Не беспокойся, папа. Все будет хорошо. Знаешь ведь, бывают разные периоды... Ну, я пошла? – Она поднялась и, не дожидаясь, встанет отец или нет, направилась к выходу.

– погоди, там закрыто. – И как только щелкнул замком, в дверь к ним, как будто только того и ждал, влетел Сережа Марчик:

– Нет, Феликс Иванович, я так не играю! Я же вам говорил: точку только на конус! А они?! – И почти без перехода: – А, Наталочка! Уходишь? Учти, ждать больше не могу. Или – или! Когда наконец тебе восемнадцать стукнет, детка?

– Сережа, ты вот что, – сказал Феликс, стараясь не встречаться с ним взглядом, – подожди меня здесь. Сейчас Наташу провожу, и мы поговорим...

– Что, согласились? Отдаете Наталочку за меня?! – Если б он знал, как неуместны были его шуточки-прибауточки сейчас. Но он не знал и продолжал в прежнем тоне: – Кстати, я жених богатый: две пары джинсов и даже – вельветовая куртка. А?!

Феликс проводил Наталью до проходной, поцеловал в щеку.

– Ну, как настроение? – Он слегка коснулся пальцем ее носа. – Не грустишь?

– Нет, папа, уже получше, – соврала Наталья и даже улыбнулась – специально отработанной на такие случаи улыбкой: легкая такая, бодрая, дежурная улыбка счастливого на вид человека. – Ну, пока?

– Пока, Мышонок... Ой, опять сорвалось, – смутился он. – Не обижаешься?

– Да ладно, – махнула она рукой. На все слова ей было совершенно наплевать сейчас – лишь бы поскорей расстаться.

Она пошла от отца, не оглядываясь, а он, немного постояв и поглядев ей вслед, чувствуя смутную досаду на самого себя, в конце концов подумал: без боли невозможно жить, больно – значит, живьем... И, круто развернувшись, быстро зашагал в лабораторию, как бы разом отделил от себя – делового, решительного – всю личную жизнь...

Но отделил ли?!

В школу Наталья так и не пошла. Она бесцельно бродила по улицам города, думая об одном и том же – что она совершенно не знает жизни, не понимает ее и вряд ли когда поймет, и от этого находила временами словно оторопь: она останавливалась где-нибудь посреди тротуара и чувствовала – вот сейчас голова разорвется или же просто-напросто она сойдет с ума. Но ни с ума она не сходила, не разрывалась и голова, а просто приходилось идти куда-то дальше, не зная куда, и думать о чем-то, не зная о чем, и принимать какие-то решения, непонятно какие, и злиться за что-то на себя, неведомо за что. Как понять взрослых? Не легко, не облегченно, не заурядно понять, а – глубоко, истинно, чтоб открылась перед глазами правда?! Как сделать это? Впрочем, возможно ли это? Отец, который любил мать, который когда-то любил свою первую жену – мать Светланы, любит теперь еще одну женщину... Возможно ли это? И если он солгал, то для чего? А если не солгал? Если вправду любит? Но разве можно любить несколько раз? Три раза – разве такое может быть в любви? И самое главное, что нужно понять, но это понять отказывается душа, – что отец больше никогда не вернется к ним, никогда... Как же случилось, отчего, по чьей вине, по чьей страшной прихоти? Впрочем, какая разница по чьей... Главное – не вернется никогда. Это чувствуется. Да, никогда! Сегодня она это поняла. Какие бы причины ни были, они уже не имеют значения сами по себе, – никогда отец не будет жить вместе с ними, вместе с ней, с Наташей, вместе с любимым своим Наташонком-Мышонком... Это невозможно! Это просто трудно пережить... потому что она, какая бы она уже взрослая ни была, еще совсем-совсем маленькая девочка... маленькая, глупая, беззащитная... пойми это, папа!

Пойми!

V. Мельниковы

Откуда она взялась, Татьяна никогда не знала. Одно время, когда выросла, было у нее желание – докопаться до истины, потом осознала, насколько тщетно все это, и плюнула. Сколько она себя помнила, столько и казалось: она и родилась-то, наверное, в детдоме – так слились в сознании и сама жизнь, и начало ее, и течение, и все загадки и тайны. Позже, когда она поняла, что были, конечно же, и у нее отец с матерью, она никак не могла представить их реальными, существующими, и поэтому к ним у нее не возникало никаких чувств – ни ненависти, ни презрения, ни любви, ни даже тайной тяги – они были что-то бесплотное, эфемерное, а как можно любить или ненавидеть абстракцию? Все дело облегчалось (или усложнялось) еще и тем, что рядом с ней жили такие же, как она, девчонки и ребята, у которых тоже не было родителей, иногда, правда, у некоторых объявлялись родственники, находились даже отцы, матери, так что жизнь в детдоме бок о бок с равными по судьбе сверстниками казалась естественным и родным делом. Отрезвление – или прозрение – находило только тогда, когда они сталкивались с одноклассниками где-нибудь вне стен детдома; странно было – и обидно, и больно – видеть какого-нибудь сытого, лоснящегося самодовольством мальчика, который хвастался: у меня есть мама, у меня есть папа, а у тебя никого нет, бе, бе! По-разному реагировали они на такое, девочки чаще плакали, отворачивались, прятались, а ребята лезли в драку, и, бывало, крепко доставалось «маменькиным и папенькиным сынкам», но все равно... Как бы кто ни защищал себя, в душе у каждого оставалось и недоумение, и злоба, и растерянность: почему, почему, почему мы не такие, как все?!

К Татьяне мысли эти не приходили долго, во всяком случае к восьми годам, когда у нее появилась «мама Нюра», они, кажется, ни разу не мучили и не тревожили ее.

А появилась «мама Нюра» и в самом деле неожиданно.

Однажды после уроков Татьяну вызвала к себе директор детдома Наталья Павловна Токарева. Ну как вызвала? Прозвенел последний звонок, все ринулись в раздевалку, Таня успела накинуть на себя пальто, и тут тетя Даша (Дарья-бессмертная, как прозвали ее в детдоме за глубокую старость), хлопнув себя, сказала:

– Это... Танюха... тебя ж к Наталье Павловне!

– Зачем это? – насторожилась Таня. В детдоме хоть и любили директора, но за строгий и суровый характер немного побаивались.

– Там узнаешь... – И, видя, как сникла Таня, Дарья-бессмертная улыбнулась беззубым ртом: – Иди, иди... не бойся... дело стоящее.

Таня нехотя сняла пальто, повесила на крючок; все на улицу побегут, играть да веселиться, а ей – к Наталье Павловне. Всегда ей почему-то не везет... а главное – зачем она понадобилась директору? Если из-за Лешки Петрова, так пузырек с чернилами пролился ему на брюки сам... Еще из-за чего? Что учиться-то стала хуже? Ну и что? С этим она быстро расправится, вот только поднажмет немного...

– Вот, Танечка, – ласково улыбнулась ей Наталья Павловна в кабинете – такой ласковой Таня никогда ее не видала, – это вот Анна Ивановна, познакомься...

Таня стояла в дверях набычившись, ничего не понимая, боясь подвоха. Буркнула:

– Здравствуйте.

– Завтра суббота, – сказала Наталья Павловна, продолжая улыбаться, – если хочешь – можешь к Анне Ивановне в гости сходить.

– Зачем это? – еще больше набычилась Таня.

– А просто – Анна Ивановна приглашает тебя к себе. Посидеть, чаю попить, поговорить.

– Мне и здесь хорошо. – Таня почувствовала враждебность не только к Анне Ивановне, но и к Наталье Павловне. – Я что, не так что-нибудь делаю?

– Да нет, все хорошо. – Наталья Павловна переглянулась с Анной Ивановной: видите, мол, как нелегко получается. – Чего ты так насупилась-то? Разве мы тебя обижаем?

– Нет, не обижают. А все равно...

– Ну что ты, Танюша? – ласково улыбнулась Наталья Павловна. – Ведь все хорошо, да? Подойди-ка ко мне. Ну, поближе, смелей...

– Не хочу я никакого чая, – упрямо бормотала Таня и нехотя, мелкими шагами шла к Наталье Павловне, опустив голову.

Надо отдать должное «маме Нюре» – в те минуты у нее хватило ума ничего не говорить, не лезть к Тане ни с ласками, ни с сюсюканьем. А может, она просто не знала, что делать и что сказать, и потому молчала. Кто теперь скажет... Кто теперь знает...

Когда Таня подошла к Наталье Павловне, та вдруг обняла ее, прижала к теплой груди; Таня и опомниться не успела, как густая тяжелая волна странно разнородных чувств опахнула ее, казалось, с ног до головы, – не ведала Танина душа, когда еще вот так родственно нежно обнимали ее. Главное, что сейчас почувствовала Таня, – это протест, чуть ли не негодование, но еще больше благодарность Наталье Павловне, и это двоякое состояние мучительно сдавило ей сердце, а глаза завлажнели, но плакать Тане было стыдно, и она напряглась вся (Наталья Павловна ощутила, как на спине у девочки будто выросли легкие крылья, – это напряжились в протесте худые лопатки) и попыталась отстраниться от Натальи Павловны. Не тут-то было. Наталья Павловна еще крепче обняла Таню, склонилась к самому ее уху, прошептала:

– А знаешь, Танюша, кто такая Анна Ивановна? – и, не дожидаясь ответа, да Таня все равно не сказала бы ничего, сама же и ответила на вопрос: – Она твоя родственница...

После этих слов Наталья Павловна отстранила от себя Таню и испытующе, но по-доброму заглянула ей в глаза.

Таня недоверчиво покосилась на Анну Ивановну. Худая, с какими-то замороженными, рыбьими глазами (они были несколько навывкат, а взгляд – остекленевший, напряженный), с плоским удлинненным лицом, вытянутость которого еще больше подчеркивалась заостренным подбородком, – эта неизвестно откуда взявшаяся родственница не очень-то понравилась Тане. Впрочем, ни за какую родственницу Таня ее не признала, и если взглянула на нее, то просто так, из любопытства и интереса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.